

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Константин Воробьев
**УБИТЫ ПОД
МОСКВОЙ**



Школьная библиотека (Детская литература)

Константин Воробьев

Убиты под Москвой (сборник)

Издательство «Детская литература»

2021

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Воробьев К. Д.

Убиты под Москвой (сборник) / К. Д. Воробьев — Издательство «Детская литература», 2021 — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 978-5-08-006730-3

В сборник писателя-фронтовика Константина Воробьева вошли широко известные повести «Убиты под Москвой», «Крик», «Это мы, Господи!» и рассказы «Дорога в отчий дом» и «Уха без соли». Для старшего школьного возраста.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-08-006730-3

© Воробьев К. Д., 2021
© Издательство «Детская
литература», 2021

Содержание

«Слово, не сорвись на стон...»	8
Повести	19
Убиты под Москвой	20
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Константин Дмитриевич Воробьев
Убиты под Москвой
Повести и рассказы



Корова

1919–1975

«Слово, не сорвись на стон...»

Константин Дмитриевич Воробьев (1919–1975) – кремлевский курсант в предвоенные годы, защитник Москвы в трагические дни октября – ноября 1941 года, военнопленный, прошедший через лагеря в Вязьме, Ржеве, Саласпилсе, сбежавший из них и возглавивший в Литве отряд «самочинных» (стихийных) партизан. На склоне лет, живя в Вильнюсе, пытался сам себе объяснить секрет своего выдвижения на войне:

«Но как тебе это удалось? В отряде ведь потом были бежавшие из плена майоры, капитаны, старшие политруки, батальонные комиссары и даже один полковник, но командовал ты, лейтенант. Как это тебе удалось?... Не знаю. Я был... Но, может, и нет. *Смелые были многие, но вот сохранивший себя настоящим лейтенантом – ты был один.* И еще ты был красивым малым!..»

Сейчас, вспоминая Константина Воробьева, пришедшего в 1968 году в обновленный журнал «Наш современник», могу сказать, что он и в сорок девять лет «был красивым малым». Правда, молчаливым, замкнутым. И была в нем какая-то давняя обида, не на Москву – на выставочно-показную «столичность», на невольное суетливое неумение многих слушать провинциала.

«Я хороший писатель... Я неплохой писатель, дядя Мирон!» – говорит о себе совсем не амбициозный герой повести «Почем в Ракитном радости», тут же пересказывая этому дяде Миرونу, родной душе, свой рассказ, избывая какую-то тоску невестребованности. А ведь этот высокий, молчаливый человек, словно застывший в неприступной самозащитной позе, с неизменным «десантным» беретом, со щеголеватым начесом поредевших волос, то и дело «разоряемых» ветром, многие годы отвергался Москвой, как... чужак, территориально далекий. Московские издатели заворачивали с порога его рукописи. «Поскольку я не являюсь русским писателем (имеется в виду местожительство вне РСФСР)», – горестно, уже почти без ярости жаловался Воробьев.

Да только ли эта беда «переехала» его? И только ли война с ужасами плена – прямо в 1941 году?

В последней, посмертно опубликованной и неоконченной повести «...И всему роду твоему» Воробьев, вспоминая полусиротское свое детство в селе Нижний Реутец на Курщине, голод и вечную опасность «загреметь» вместе с мужицкой родней куда-нибудь на Север, скажет о главном герое: «Эта несчастная привычка к самогонимости осталась в нем с детства... Мать не могла объяснить ему, что значили слова „чужак“ и „подкрапивник“, которыми обзывали его не только ровесники».

В повестях «Сказание о моем ровеснике» (1960) и «Мой друг Момич» (1965) писатель расскажет о том, как рано, ребенком, научился он, «приймак», жизни «в людях», на краешке чужого гнезда. «Он умел плести себе лапти и вить путы для мерина, украдкой стирать на речке портки и варить щи», – напишет Воробьев о сироте Алешке Ястребове в «Сказании» (это имя получит и герой повести «Убиты под Москвой»).

Вопрос о возвращении из Прибалтики на родину оказался для Воробьева самым мучительным. Наездов в полустепные края Курщины, откуда писатель унес – в памяти, конечно, – «никогда не потухающее солнце, речку, тугой перегуд шмелей и цветущей акации, запах повилики и мяты», песни, которые здесь «не пелись, а „кричались“ („Почем в Ракитном радости“), было, видимо, несколько. Но покинуть вежливо-ледяную чужбину с ее высокомерием окраины Европы Воробьеву не удалось до конца жизни.

Публикация повести «Убиты под Москвой» (1961), как сказал молодой писатель Антон Кержун, герой городской повести «Вот пришел великан» (1971), написанной не без воздействия романа «Три товарища» Э. М. Ремарка, – «высшая точка хорошего, лучше которого

ничего уже не могло случиться“. Но это была „радость со слезами на глазах“. Повесть „Убиты под Москвой“ в 1961 году, даже в разгар хрущевской „оттепели“, была не просто разругана как якобы „паническая“, „дегероизирующая“ исторический момент 1941 года – оборону Москвы. Хуже того. Брань на восточном входе не висит – она, как скандал, часто спланированный, многим в то время приносила заранее взвешенную, ожидаемую прибыль: ореол известного страдальца.

Ничего похожего не случилось с К. Д. Воробьевым, вильнюсским изгнанником. Его попросту замолчали. А ведь в литературе не столь страшно быть... „убитым“, сколько стать... „без вести пропавшим“!

В конце 80-х годов опубликованы дневники и письма „тихоголосого“, застенчивого Константина Дмитриевича „Заметки сердца“ (М., 1989). И так очевидно стало мало кем осознанное в то время состояние мужественного человека, словно боявшегося сорваться на стон. Кстати, эта мольба к своему неслезливому слову —

Слово, не сорвись на стон,
Опасайся стать соленым... —

звучит почти во всей его прозе, окопной, деревенской и лагерной. Дневники эти – удивительное исповедальное пространство – многое проясняют в его творчестве.

О чем писал, чем был встревожен, мучим Воробьев? Безвестный в России, замалчиваемый в ней, оказывается, он уже задыхался и на литовской чужбине, среди ледяной вежливости и отчужденности устремленных на Запад „уцененных“ европейцев: „Осточертела чужбина. Хочу в Русь. Криком кричу – „хочу домой!“

«Мне что-то сейчас не работается. Наверное, втуне ожидаю хулу и брань разных бровманов (Г. А. Бровман с особым тщанием разнес повесть „Убиты под Москвой“. – Б. Ч.)... Сволочи, выбивают недозволенными приемами перо из рук, никак не могу привыкнуть к оскорблениям, хоть на мне уже и места нету живого!»

К сожалению, глубочайшую противоречивость, ненормативность мышлеощущений писателя не понимали в 60-е годы. Как автор «панических» повестей «Убиты под Москвой» и «Крик» – обе о неудачах 1941 года, – он механически зачислялся в обличители Сталина, почти в диссиденты. Да и сейчас... Важный, но отнюдь не ключевой эпизод повести «Убиты под Москвой» – эпизод самоубийства капитана Рюмина, командира роты кремлевских курсантов, с проклятиями в адрес Сталина, якобы не заготовившего на случай войны новейших истребителей, – выставляется как кульминационный во всей повести.

Критик А. Станюта писал о полнейшей, глобальной беспомощности, бессилии фронтовых героев Воробьева, не бойцах, а только жертвах предательской покинутости, брошенности на произвол судьбы, «бессмысленного закланья их жизней вместо осмысленной борьбы»¹.

Что же в действительности происходит в повестях Константина Воробьева? О чем они? Это реквием по всем преданным на бессмысленное заклание в 1941 году? Или поиск выхода из безнадежности, преодоление катастрофы, точнейшая фиксация процесса самоспасения народа, начала войны народной?

Первый опыт преодоления страшной катастрофы плена, лагерных унижений, угроз Небытия был обретен Воробьевым в уникальной – и по времени, и по месту создания, и по всему художественному строю – повести «Это мы, Господи!», написанной в 1943 году в оккупированном Шяуляе. Тогда за плечами молодого лейтенанта уже остались и первые бои 1941 года под Клином, и многие лагеря военнопленных, смертельные опасности побегов. Опубликовать ее – после целого ряда неудач – удалось только в 1986 году.

¹ Станюта А. Пространство проклятого квадрата // Дружба народов. 1990. № 9. С. 210.

Зачем она, эта повесть, вообще писалась? И могла ли эта исповедь быть – тем более в 1943 году, в оккупированном городе, переполненном жандармерией, полицией, – незаписанной и ненаписанной?

Когда-то о молодой Марине Цветаевой ее сверстница сказала: «В Вас больше реки, чем берегов, в нем (Брюсове. – В. Ч.) – берегов, чем реки»². Вероятно, всякий талант в молодости – это безбрежная река, некая безмерность, беспредельность, не скованная «берегами», пределами формы, даже границей между возможным и невозможным. Молодой А. Твардовский, вспоминая себя начинающим поэтом в селе в весенний Духов день, скажет об этой безбрежной радости творческой весны, блаженного неведения границ:

В душе поет под музыку секрет,
Что скоро мне семнадцать минет лет.
И я, помимо прочего, поэт,
Какой хочу, такой и знаменитый.

Была эта «безбрежность» и у Воробьева. Внезапный обвал катастрофических впечатлений свершил в молодом сознании нечто невероятное: «берега» вообще оказались затоплены «рекой». Страшное, ужасающее можно победить, только сделав его «литературным», основой для игры метафор. Оно преодолевается, побеждается в упоенье вымысла. Иной формы свободы не было. Сопротивление сознания силе зла, угрозам небытия, унижению человека приобретает характер – не следует бояться этого слова – увлеченной игры, разгадывания метафоричности мира, повышенной образности его. Фашизм не все убил, с абсурдом лагеря сражается русское слово...

Страшна, например, вся ситуация с болезнью (тифом) главного героя повести, двадцатилетнего лейтенанта Сергея Кострова, в лагере на окраине Ржева. Но удивительна эта энергия самонаблюдения, блеск иронического отстранения, осязаемая ориентация Воробьева на романтические страницы Гоголя при описании страшных мгновений бреда, борьбы больного с болезнью:

«Чуден и богат сказочный мир больного тифом! Кипяток крови уносит в безмятежность и покой иссохшее тело, самыми замысловатыми видениями наполнен мозг. Лежит это себе мумия на голых досках нар с открытыми глазами, прерывисто дыша, и тихим величием светятся ее зрачки, как будто она только одна на свете вдруг вот теперь поняла смысл бытия и значение смерти! Какое ей дело до миллиардных полчищ вшей, покрывших все тело, набившихся во впадины ключиц, шевелящих волосы на голове... Нарушается это величие лишь жаждой капли воды. От сорокаградусной жары в теле трескаются губы и напильником шершавится горло. Мумия тогда издает хрип:
– Пи-и-ить... ии-ть!..

А потом вновь затихает – иногда навеки, иногда до следующего „иить“...»

Лучик солнца как бы блуждает в этой зарисовке. И казалось бы, река вдохновения вот-вот обретет «берега» в той или иной знакомой традиции, образной системе как объекте подражания. К кому-то должен же «прислониться» дерзкий талант, создающий к тому же свое творение как бы вне закона, в опасном городе? «Прислонился» на миг Воробьев к Гоголю, «внезапно» оперся на Толстого... Так, мелькнул на первых страницах повести, в колонне пленных,

² Цветаева М. Герой труда. Записи о Валерии Брюсове // Согласие. 1991. № 3. С. 179.

пожилой бородатый солдат Никифорыч, пожуривший пылкого Сергея за портсигар, буквально вырванный у него немцем:

«– Эх ты, мил человек, горяч, нечего сказать! Чай, запоматывал, где ты? – урчал бородач, наклоняясь над Сергеем. – Портсигар пожалел... Велика важность! Убить германец ить мог тебя, вот оно как...»

Этот солдат, покоровивший Сергея «задушевной простотой и грубоватой ласковостью советов», поделившийся сухарем («... Ты, мил человек, бери и ешь. Приказую тебе»), вселил недолгую надежду. Ну, кажется, и свой Платон Каратаев появился для Воробьева в колонне, и «берег» толстовской традиции вот-вот обуздает «буйство глаз и половодье чувств». Но наплывают новые ситуации – побегов, пребывания в карцере, допросов, смертей – и уже художественный мир Есенина (причем в его имажинистском качестве) обозначается в повести. Художник как будто знать не хочет ни об измученном человеке, ни о лагерной баланде с костной мукой. Воробьев вдруг предстает одержимым метафорами, узорами, переливами ассоциаций, символами:

«Колодезный журавль, вытягивая шею в небо, казалось, вот-вот крикнет песню утра...», «Тяжелым ленивым шаром катились дни. Подминал этот шар под тысячепудовую тяжесть тоски и отчаяния людей...», «От истощения пергаментной бумагой шелестели перепонки ушей...», «Истрадавшейся вдовой-солдаткой плачет кровавыми гроздьями слез опершаяся на плетень рябина...», «Дуло браунинга сычным глазом уставилось в лоб Сергея», «Черной душной стеной обрушивается ночь на лагерь. Погребают ее обломки-минуты мысли и надежды людей...».

Можно было, безусловно, и пожурить молодого писателя за эту литературность, за сам способ игрового, картинно-красочного преодоления ужасов. Но ведь это – побег из лагеря... с помощью игры, «художества», красивостей, «наивных украшательств стиля» (А. Станюта). И делать этого не хочется.

И все же решающий момент, объясняющий и оправдывающий стилистический «побег», игру света и цвета в повести «Это мы, Господи!» – в понимании Воробьевым эпического, грандиозного по смыслу процесса, сдвига в народном сознании. Он выразился в смене вожаков, лидеров, в интенсивной циркуляции, передислокации сил народа для самосохранения. Что так влечет сокамерников, спутников в колоннах, старых солдат вроде Никифорыча и юного лейтенанта Ивана к Сергею Кострову?

Великий обнадеживающий закон русской трагической истории, сам того, может быть, не ведая, затронул, частично приоткрыл молодой писатель: стихийную, неостановимую замену официально-фасадных (или подставных) «вождей», командиров подлинными, способными обновить себя и обновить народное сознание, спасти его от горечи безнадежности, безволия, часто явной прострации.

Разрушительная сила лагеря и ужас Освенцима (мне довелось видеть этот конвейер смерти длиной в миллионы жизней в 1984 году) состояли не только в продыmlенном крематории, в газе «Циклон», сплюсненных бараках, в складах, где утилизировались вещи заключенных, даже тюки волос; не в издевательской надписи на воротах: «Труд дает свободу» и т. п. Страшен был своеобразный «суверенитет» лагеря, иллюзия «независимости» его, функционирование трехмиллионной «республики смерти»... почти без участия самих фашистов, вращение жерновов смерти волей (вернее, безмолвием, беспамятством, прострацией) самих жертв: они и сортировали вновь прибывших, и гоняли их (как старосты – «капо») на работы, и доносили, и разгребали («гольдзухеры») пепел, прах, чтобы выложить охранникам золотые коронки, кольца. И за какую же «награду»? За право быть последним в роковой очереди «на газ»!

Этой «завроженности» неким порядком, страшным суверенитетом вымирания без бунта не могло быть до тех пор, пока жили, выдвигались в лидеры сопротивления такие, как Сергей Костров. В Кострове была не одна звериная хитрость выживания, эгоизм молодой жизни. «Одного выживания было мало – требовалась борьба, требовался вооруженный бунт... Народ в любое время, в любую эпоху – органично, даже неосознанно – перераспределяется, определяя в себе самом стержневых людей, лидеров, наделенных необходимыми в ту эпоху качествами – для продолжения жизни народа в целом»³, – верно заметил критик В. Бондаренко.

Подобную передвижку, передислокацию Воробьев раскрыл и в рассказе 1948 года «Дорога в отчий дом» (рассказ партизана) о побеге из лагеря двух инвалидов, о формировании «самочинного» партизанского отряда. Как и в «Судьбе человека» Шолохова, в этой новелле многое держится на искусстве сказа, на точности разговорных интонаций, наблюдений, стихийности исповеди солдата Курочкина, героя-повествователя. Почему эти подконвойные инвалиды решились бежать именно в лесу, нарезая березовые прутья? «Дело тут оказалось в другом – в том, что конвоир боялся нас, вот в чем!.. Еще в лагере у немца сидела где-то робость... А на войне, да и вообще в жизни, получается всегда так: враг трусит – я смею!» – рассказывает однорукий беглец. Эта рассудительно-расчетливая обстоятельность, сопровождаемая житейскими обращениями к читателю, – «посудите сами»; «чтоб было короче, я скажу вам одно»; «чуete, какую подозрительную откровенность толкнул?»; «и там Климов... восстановил нам всем воинские звания. Понимаете, был ты, скажем, до плена сержантом, – им и остался» и т. п., – сделала предельно наглядными и эти тропы, хутора, леса Литвы, через которые шли в отчий дом «пленчики», часто в рубашках из мешков, и процесс выпрямления их душ.

У истоков войны народной... Внимательное и непредвзятое прочтение классической повести К. Д. Воробьева «Убиты под Москвой» убеждает в том, что кто-то действительно был убит (или покончил с собой) под Москвой в 1941 году, постарев до этого (и при всем блеске – устарев), а кто-то пробудился, воскрес, открыл для себя Россию, увидев всю предстоящую войну как ратный труд, как сверхизнурительную войну народную. И закономерно переместился в неформальные вожди спасающего Россию народа. Обновление души, смена ведущих и ведомых – этот главный, эпический по природе своей процесс захватил в повести даже капилляры сознания и... языка!

Предваряя последующий анализ, заметим, что в начале повествования командир роты кремлевских курсантов щеголеватый капитан Рюмин, почти гумилевский блестящий поручик, ведет курсантов, помахивая ивовым прутиком, который все называют «стэком». Этот английский стэк, надо сказать, созвучен в глазах другого героя – взводного Алексея Ястребова – и тугим кожаным перчаткам, и ледяной надменности его кумира. Он до поры доминирует в тексте. А что противостоит ему? Как бы незначай, случайно мелькнувшее народное словцо пожилого пехотинца, уже побывавшего в боях с танками, – слово «репица». «Ведь танку в лоб не проймешь такой поллитрой! – учит он необстрелянных курсантов. – Тут надо ждать, покада она репицу свою подставит тебе».

Что за редкое слово? Где его отыскал писатель?

В словаре В. И. Даля оно истолковано так: «Репица – хвост позвоночного животного, кроме шерсти и волосу; вся связь хвостовых косточек, продолжение позвонков».

В финале повести Алексей Ястребов, переживший самоубийство Рюмина, живет во власти, в стихии слова из словаря войны народной: «... успел вспомнить, что то место в танке, куда он попал бутылкой, называется репицей».

³ Бондаренко В. Реальная литература. М., 1996. С. 15–16.

Заметим, что Воробьев любил народные речения, «местные», диалектные, слова, залетавшие в память из той же курской сторонки: работать «*спрохвала*» (полегоньку, неторопливо); «*жизнь наклонилась законная*»; «а ну ходи ко мне»; «это те... кто стремится к *скопу* и табору»; «белая старикова *орясина* (удилище) лежала у него на плече»; «дедушка Гордей чтоб только не *прознал*»; «им тут раздольно, *глюю* много» (то есть глины).

Пролог повести – это еще апофеоз цельности, нерассуждающей отваги, торжество корпоративного офицерского аристократизма. «Учебная рота кремлевских курсантов шла на фронт». Эти двести сорок курсантов кажутся целиком скопированными с того же капитана Рюмина. Поражает почти графическая четкость в обрисовке монолитной колонны, ее вызывающе-игрового презрения к гибельным обстоятельствам. Все вокруг уже говорит о смертельной опасности для Москвы, России: над лесом парадоксальная «голубовато-призрачная мгла», солнце «навсегда застряло на закате...». Однако рота воюет пока лишь тем, что гордо не обращает внимания... ни на что! «Рота рассыпалась и падала по команде капитана – четкой и торжественно напряженной, как на параде», – сообщает автор о шестви, о действиях курсантов и их лидера при появлении вражеских самолетов. Сам капитан оставался стоять на месте лицом к polegшим, и «с губ его не сходила всем знакомая надменно-ироническая улыбка».

Это даже не колонна, а корпорация, некий кристалл, не растворяющийся в среде, презирающий обстоятельства! Она напоминает – это уже тончайший нюанс авторской тревоги, беспокойства, болезненной любви к своим героям! – выразительную стилистическую фигуру, грандиозную метафору из предвоенного фильма 30-х годов «Чапаев»: колонну белых офицеров, сцементированную ритмом, барабанным боем, с надменно-ироническим презрением к пестрой лапотной крестьянской толпе (орде) врагов (чапаевцы для них – современные пугачевцы с вилами!). Их ведет, подчеркнули братья Васильевы, создатели фильма, не воля к победе, а презрение к смерти. Следует учесть, что о традициях русского офицерства, о кодексе чести лермонтовского Максима Максимыча, полковника из его же «Бородина», что был «слуга царю, отец солдатам» и призвал – «умремте ж под Москвой», вспомнили только после 1943 года. Тогда введены были офицерские звания, погоны.

В 1941 году поколение Воробьева могло искать связи с лермонтовскими, толстовскими, купринскими, булгаковскими поручиками – произвольно, как бог на душу положит, – сквозь уродливые призмы, карикатурные фигуры «беляков», «ахвицеров», которых, ликуя, «косит» в том же фильме «Чапаев» Анка-пулеметчица. Писатель, конечно, не мог знать, что эта метафора кинорежиссеров, последний парад, понравилась некогда О. Э. Мандельштаму, увидевшему фильм:

Начихав на кривые убыточки,
С папироской смертельной в зубах
Офицеры последней выточки
На равнины зияющий пах...

Рюмин с его надменной улыбкой, фуражкой, сдвинутой на висок – странная, не очень ясная вначале фигура, – отчасти уже несет в себе обреченность (и это при его кожаных перчатках, почти гумилевском презрении к смерти). Он оледенел, застыл. Вся колонна, что ложится на землю, а после ухода «юнкеров» кричит «по-мальчишески звонко и почти радостно», этого чувства обреченности, к счастью, не знает. Они хотят победить, а не блистательно умереть на последнем параде. Различие самочувствий их и Рюмина подчеркивается весьма сдержанно, намеками. Оценка подается через поток наблюдений автобиографического героя, командира взвода Алексея Ястребова.

Что же невольно замечает Ястребов, этот человек из народа, в своем кумире?

Он заметил, например, что Рюмин почему-то растерялся, натолкнувшись на заградотряд в скирдах, устранился «подозрительно-отчужденных» взглядов заградотрядников, словно изучающих душу. Он стушевался перед усмешкой майора, проверявшего документы.

Заметил Ястребов, что еще более робко держит себя Рюмин перед измученным подполковником, командиром полка московских ополченцев, коему придана их рота. «Разве рота не получит хотя бы несколько пулеметов? – тихо спросил Рюмин». Когда этот же подполковник обрадовался тому, что в роте целых двести сорок винтовок, Рюмин вновь как бы ничего не понял и «увел глаза в сторону и как-то недоуменно-неверяще молчал».

В этих подробностях нет негативного отношения к Рюмину. Есть лишь предчувствие беды, жалость к герою. В конце концов, не очень много знает о происходящем и Ястребов. «Все его существо противилось тому реальному, что происходило <...> пятый месяц немцы безудержно продвигались вперед, к Москве... Это было, конечно, правдой, потому что... потому что об этом говорил сам Сталин». Оба героя знают о беде ничтожно мало... по сравнению с автором. Но он не спешит поделиться своим страшным знанием.

Однако различие в жизнеощущениях двух героев, предвещающее смену лидера, все-таки есть. Когда на участок фронта перед взводом Алексея Ястребова вышла горсть бойцов с генерал-майором Переверзевым (он в солдатской шинели), то сразу же заявляют о себе мотивы скованности, закрытости и запуганности, даже страха, живущие в Рюмине. Этого совершенно нет в открытом, бесстрашном, скорее любопытном Ястребове.

Вот странный красноармеец в пилотке (генерал), которого втягивают по склону рва, протянув ему винтовку. Он затем стоит в стороне... Вот капитан, не отвечающий на вопросы и все время поглядывающий на этого обособленно стоящего «красноармейца», как бы «отходящего» от травмы. Нетерпеливые вопросы Алексея: «Где фронт? <...> Где ваша... винтовка, товарищ боец?» И первые, уже генеральски-суровые, ответы «бойца», гневные его упреки еще не прозревшему новичку: «А ты где находишься? Ты не на фронте? Где ты находишься? А? <...> Я воевал не винтовкой, а дивизией, лейтенант!»

Этот внезапно преображающийся человек для Алексея не просто тот битый, за которого двух небитых дают... Он преображает Алексея тем, что заставляет и его пережить (мысленно!) возможное поражение и обрести горький опыт битого, спросить себя: «Какого фронта ты ждешь? А может, он, фронт, уже и... за твоей спиной?»

Поведение Рюмина при встрече с генералом совершенно иное. Он вновь испугался, поняв безысходность, тяжесть своей ответственности, и «вдруг побледнел и сказал чуть слышно: „Предъявите ваши документы!“

Осознать начало совсем иной войны Рюмину вновь не под силу. Он, правда, уже отбросил стэк, перчатки, смог с раздражением заметить тому же Ястребову, еще подражающему во всем ему же: „Бросьте тянуться, Ястребов! Вы не на экзамене...“ Его лидерство уже неустойчиво, зыбко. И он как-то осознает это, признаваясь внезапно, словно сдавая полномочия, прощаясь, тому же Алексею.

„– Обстановка не ясна, Алексей Алексеевич, – *неожиданно и просто* сказал капитан. – Кажется, на нашем направлении прорван фронт... – И все тем же, *немного не своим и немного невоенным, тоном* капитан сказал, что ночью за ров пойдет разведка <...> Ушел Рюмин тоже не по-своему – он не приказал, а посоветовал выставить за кладбищем усиленный пост, *порывисто сжал руку* Алексея...“ (курсив мой. – В. Ч.).

Почему так разведены, отъединены эти два офицера? Что недоговаривает Рюмин, условно знающий и о предвоенных чистках в армии, о крушении яростного антисталинского ядра во главе с М. Н. Тухачевским, о выдвижении плеяды новых полководцев типа Г. К. Жукова? Писатель вновь предоставляет слово... самим словам!

Возникают ситуации самораспада героя, состояния усталости, безволия. Увидев убитого курсанта, „Рюмин издал птичий писк горлом...“. Оставляя раненых в селе, он же „таинственно сказал“ хозяину, что „мы вернемся через три дня“. В канун ночной атаки он идет уже перед ротой „зачем-то высоко и вкрадчиво, как на минной полосе“, а после боя он же „заколдованно стал смотреть на хаты“. За действиями Ястребова Рюмин следит уже отрешенно, „с неестественно пристальным, почти тупым любопытством“... Это любопытство отрешенности наталкивается на „немой страдающий взгляд Алексея“.

Впрочем, Рюмин только по должности, в силу инерции почитания, остается еще центральной фигурой, отдающей приказы, куда-то ведущей роту. По существу же он почти утратил эту роль. Так было в 1941 году и с более крупными, фасадными, фигурами – тем же К. М. Ворошиловым, С. М. Буденным, С. К. Тимошенко, – назначенными ненадолго, для „вселения оптимизма“ командующими целыми направлениями. В роте начался процесс выработки нового сознания (и осознания войны), выдвижения иных руководителей.

Так, само по себе фантастическое решение Рюмина, выданное им за приказание свыше, – не отойти, чтобы избежать полного окружения, а ринуться вперед, атаковать деревню и затем идти назад к своим, – родилось во многом импульсивно, в сложном состоянии страха за несанкционированный, преждевременный отход; боязни объяснений с тем же заградотрядом; нелепого упования на чудо („сердце просило смутное и несбыточное“); какого-то неестественного романтического ультрагероизма.

Алексея Ястребова покорило, когда Рюмин приказал его четвертому взводу остаться на месте и в упор расстреливать отступающих (а если этого не будет?) к лесу голых фашистов. „Рюмин так и сказал – голых, и Алексей на мгновение увидел перед собой озаренное красным огнем поле и молчаливо бегущих куда-то донага раздетых людей“.

Впрочем, очень многое сместилось, перемешалось в сознании бойцов – и не только молодых – в драматичнейшей битве под Москвой в октябре – декабре 1941 года. Так хотелось не просто остановить врага, но разгромить, напомнить, что „русский от побед не отвык“!

Бойцы часто еще не знали о превосходстве врага, которого надо было превзойти в бою. Не знали, правда, еще и сомнений в своем оружии. Ключевая, может быть, сцена поединка русского штыка и всесильного немецкого автомата (и парабеллума) уже возникала в памяти Воробьева в повести „Это мы, Господи!“. Один из пленных, бывший крестьянин, рассказывает в лагере, как для него „аккуратная“ война по правилам перерастала в безграничную, без правил войну народную.

„Кольнул... Штык, примерно, идет так, как в мешок, допустим, с рожью или гречихой, ишшо потрескивает чтой-то внутрих.“

Ну, и када штычок залез, примерно, по дулу вот тут, пониже сисек, а он схватись за мою винтовку одной рукой, другой – цоп за парабелку. „Эх ты, – думаю, – босяк, куртульно умереть не желаешь!“ Бросил я „савате“ (винтовку СВТ. – В. Ч.) свою да как плюхнусь на его прямо пузом, а руками за хлебалку, и задушил, значит...“

В повести „Убиты под Москвой“ это борение штыка и автомата еще более натуралистично: один из курсантов тоже „кольнул“ и, „ведя на винтовке, как на привязи, озаренного отсветом пожара немца в резиновом плаще и с автоматом на шее“, даже не понял, как смертельно опасен для него игрушечно ладный автомат! Смешно, пожалуй, что курсант этот боится не столько за свою жизнь, сколько за... потерю оружия, кричит врагу: „Отдай!“

И вслед за этой невероятной победой – трагическое окружение роты в лесу, бомбежка, атака танков и гибель многих.

Сейчас особенно очевидной стала взаимосвязь двух кульминационных сцен повести, резко контрастных, усиливающих друг друга. Первая из них – ее только и выделяли ранее! –

„венчает“ процесс неумолимого старения (устаревания) Рюмина. Вторая, связанная с Ястребовым, предшествует его первой трудной, глубоко осознанной победе.

Первая, что очень характерно, выдвинута вперед, на всеобщее обозрение. Гибнут в небе над курсантами, уцелевшими после разгрома в бору, три фанерных „ястребка“, уступающие в скорости „мессершмиттам“. Рюмин в бессильной злости грозит тому, кто якобы не учел уроков Испании, не создал в изобилии таких же новейших самолетов. „Мерзавец! Ведь все это давно было показано нам в Испании! – прошептал Рюмин. – Негодяй! – убежденно-страстно повторил он, и Алексей не знал, о ком он говорит“.

Рюмина угнетает мысль, очевидно принадлежавшая не одному ему, не раз обсуждавшаяся, видимо, в узком кругу с кем-то „повыше“: почему не убрали вовремя Сталина, почему он „убрал“ (и далеко „убрал“) блистательнейшего кумира Гражданской войны Тухачевского и других.

«– Все, – *старчески* сказал он. – Все... За это нас нельзя простить. Никогда!..»

«У него теперь было худое узкое лицо, поросшее светлой щетиной, *съехавший влево рот* и истончившиеся в ненависти белые крутые ноздри».
(Курсив мой. – В. Ч.)

Наблюдающий этот последний акт жизненного спектакля Ястребов хочет остановить процесс старения (умирания) Рюмина, выдернуть его из вчерашнего дня, разрушить скрытую заикленность на ненависти к Сталину (не отсюда ли и страхи перед заградотрядами?). Он буквально выкрикивает «в грудь Рюмину» (вдыхает жизнь):

«– Ничего, товарищ капитан! Мы их, гадов, всех потом, как вчера ночью!
<...> У нас еще Урал и Сибирь есть, забыли, что ли! Ничего!..»

Какой неожиданный «агитатор» ожил вдруг в Ястребове! Впрочем, и в повести «Мой друг Момич» отчим будущего лейтенанта 1941 года не мстит Советской власти, не носит обиды за голодный 1933 год. В июле 1941 года он говорит лейтенанту-окруженцу: «Чего же ква-ситься-то? Одним, вишь, днем лето не бывает опознано!»

Откуда вообще взялись эти доводы об Урале, Сибири, не остановившие, правда, рокового самоубийства Рюмина?

И здесь выясняется все значение второй, предшествующей данной «агитбеседе», ключевой сцены в том же лесном массиве, где погибала рота. Алексей Ястребов в ходе этой заведомо проигранной битвы попал в «бомбоубежище» – воронку под корневищем сосны. Там же, как под спасительным зонтом, уже лежал незнакомый ему курсант. В этой тесной яме, под грохот бомб, возникает диалог двух людей, похожий на ссору...

Гул моторов, треск автоматов заглушают напор противоречивых мыслей самого Алексея. Смешанные чувства ломают, буквально разрывают его сознание. Он уже видел, как разбегались по лесу курсанты, и впервые злобно подумал о Рюмине: «Что же он... его мать, завел, а теперь...» В то же время и этотмышленный курсант ему крайне противен. «А ведь он дезертир!.. Он трус и изменник! – внезапно и жутко догадался Алексей, ничем еще не связывая себя с курсантом. – Там бой, а он...»

Увы, оказалось, что курсант вовсе не шкурник, не трус, что и своя винтовка СВТ, и немецкий автомат бережно сохранены им. Он не солгал, когда сообщил, что и в ночном бою, «один на один, троих подсадил» и что страхов перед НКВД, всякими заградотрядами у него нет: «А из НКВД с нами никого не было. Ни вчера, ни нынче...» Ему уже сейчас смешна вчерашняя и нынешняя беззаботность, жажда игры, когда многие, дергаясь, палили из трофейных автоматов («они, как пилой, срезали молодые деревья»), когда даже Рюмин надеялся, что немецкий разведчик «рама» их не увидит. Если они, курсанты, не будут стрелять и... шеве-

литься! В ответ на эти наивные ожидания фашист высыпал именно им груды листовок с пропусками в плен: «Бей жида-политрука, рожка просит кирпича!»

Безымянный курсант заставляет Алексея задуматься, спросить самого себя: а хочешь ли ты погибнуть «красиво», как на параде, и... бесполезно? Кем же ты с Рюминым командовал? Кого бросил в фантастическую ночную атаку? И по какому праву командовал, если простой здравый смысл народа, представляющего всю войну на много месяцев вперед, выше твоей «стратегии»? Даже трагедию плена, пережитого героем повести Воробьева «Крик», – страшные пленницы смерзшихся трупов в бараках – вполне реально представлял этот незнакомый курсант. Он предпочитает смерть здесь, в воронке, чтобы «не встретиться с той, которая была там, наверху».

Раздвоенность, своеобразный «гамлетизм» Алексея, прижатого в воронке к этому курсанту, достигают крайнего предела. Алексей рвется в бой, слыша треск автоматов, крики добиваемых раненых. И он почти с ненавистью говорит собеседнику: «А как мы с тобой воевали нынче... тоже доложишь?» Но где этот бой? Для него особо унизительна такая деталь всего проигранного боя: «Они лежали валетом и слышали, как над ними остановились двое и стали мочиться в обрыв воронки, под корень. Это были немцы».

Как сложно взаимодействуют пролог и финал, почти парадное шествие с Рюминым во главе и это глумление врага над бывшим романтиком! В том же 1941 году Сергей Наровчатов, тоже фронтовик, написал стихотворение «Крик», в котором молодой лейтенант, стоя перед сожженным селом, слышит:

По земле поземкой жаркий чад.
Стонет небо, стон проходит небом!
Облака, как лебеди, кричат
Над сожженным хлебом.

Поистине «Крик» – так назовет свою повесть Воробьев – царит в душе Алексея. Его совсем не утешает очередной довод собеседника: «Мы ничего не сможем... Нам надо остаться живыми, слышите? Мы их, гадов, потом всех... Вот увидите!..»

Утром он, правда, повторит эти слова Рюмину, пытаясь вдохнуть жизнь в этого внезапного старика... Но всему этому предшествует резкая самооценка жизнеощущений последних дней, своего бессознательного романтизма, нелепого подражания Рюмину:

«Что сказал бы я Рюмину перед его пистолетом? То же, что этот курсант? Нет! Это было б неправдой! Я ни о чем не думал! Нет, думал. О роте, о своем взводе, о нем, Рюмине... И больше всего о себе... Но о себе не я думал! То все возникало без меня, и я не хочу этого! Не хочу!..»

Развязка всех этих узелков – в последнем сражении Алексея с неожиданно появившимся немецким танком уже после самоубийства Рюмина... Характерно, что окопом Алексею, из которого он бросил бутылку (и бросил не в лоб, а в репицу!), послужила полуприсяпанная могила недавнего командира. Началась и для него война, похожая на смертный бой. На суровый ратный труд. В ночном бою, лихо командуя, стреляя, ощущая, что «каждая секунда времени разрасталась для него в огромный период», он еще хотел видеть капитана Рюмина (и быть видимым и поощряемым им!). После одинокого боя с танком Алексей эту жажду похвалы поставил на самое последнее место среди всех чувств. Да еще и назвал ребяческой: «...им владею одновременно несколько чувств... горе, голод, усталость и ребяческая обида на то, что никто не видел, как он сжег танк...»

В августе 1974 года, через три дня после операции, оказавшейся, видимо, безнадежно запоздавшей, Константин Воробьев вспомнил о неисполненном: «Жаль, что „Крик“ не закон-

чил, не написал». До этого, еще в 1971 году, он торопил себя: «Надо бы писать „Крик“. Как хочу, как надо».

Но ведь повесть «Крик» (1962) уже существовала! Как пролог к повести «Это мы, Господи!», как описание трагического сражения взводного Сергея Воронова, предшествующего плену. И в этой повести «окопная земля» героев Воробьева – это не просто траншеи, землянки: это нераздельная земля России, не вымороченная, не отшибленная от родных полей, от земли, еще не взорванной, не раненной войной. Герой еще не отделен от мирной жизни, от надежд и пылких порывов юности. В деревенском амбаре, складе для валенок, он встретил хозяйку, «сторожиху», – а ей восемнадцать лет и она столь же наивна, застенчива, стыдлива, как и он! И в тот момент, когда герои запирают амбар, они забыли о войне: «Наши руки сталкивались и разлетались, как голуби, и, поскользнувшись, я схватился за концы ее шали. Мы оказались лицом к лицу, и я смутно увидел ее глаза – испуганные, недоуменные и любопытные. В глаз и поцеловал я ее. Она отшатнулась и прикрыла этот глаз ладонью.

– Я нечаянно. Ей-богу! – искренне сказал я».

Вероятно, во всей «лейтенантской прозе» 60-80-х годов не было более «нечаянной», нежной, даже трепетной (как уместны эти «голуби» – доминанта всей краткой истории!) любовной пары, нерешительной, спасающейся от всего мира. И в то же время – неуступчивой, отстаивающей свою законность. Даже старший друг Сергея, старшина Васюков, не хочет идти на скоропалительную свадьбу (день рождения): «Я, понимаешь, не могу так... обманывать девку на глазах у матери!»

Так почему же «Крик» не закончен, не дописан?

Видимо, речь шла об ином, крупноформатном эпическом произведении, контуры которого частично просвечивают в позднейших повестях «Почем в Ракитном радости» и «Вот пришел великан».

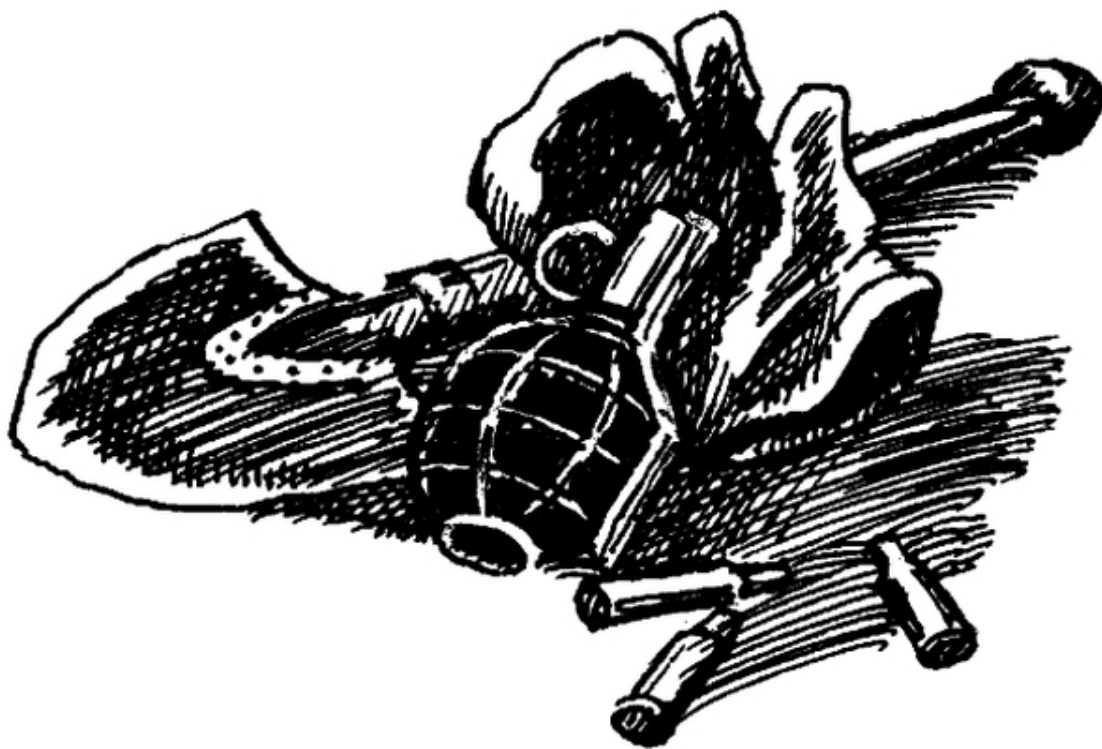
Главная моральная тема – «остаться на войне человеком» – не исчезала для Воробьева никогда.

Лукавством, плохо прикрытым, были для него рассуждения о ненужности, вредности даже воспоминаний о войне. Надо, мол, забыть войну, как потухший вулкан XX века, и памяти, по всем законам, положено успокоиться, а не возрождать зловещую фигуру «человека с ружьем», «орудующего» в кратере вулкана.

Литература о войне для него – это не «порча» настоящего, не раздражающий диссонанс среди якобы всеобщего веселья и мирной беспечности, а спасение настоящего и будущего от ползучих видов безумия, беспамятства, бессилия перед злом разрушения России. Проза Воробьева важна и для наших дней смуты: это мучительный опыт преодоления неудач, даже унижения. И он вселяет надежду...

В. Чалмаев

Повести



Убиты под Москвой

*... Нам свои боевые
Не носить ордена,
Вам все это, живые,
Нам – отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать,
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.*

А. Твардовский

1

Учебная рота кремлевских курсантов шла на фронт.

В ту пору с утра и до ночи с подмосковных полей не рассеивалась голубовато-призрачная мгла, будто тут сроду не было восходов солнца, будто оно навсегда застряло на закате, откуда и наплывало это пахучее сумеречное лихо – гарь от сгибших там «населенных пунктов». Натужно воя, невысоко и кучно над колонной то и дело появлялись «юнкеры». Тогда рота согласно приникала к раздетой ноябрем земле, и все падали лицом вниз, но все же кто-то непременно видел, что смерть пролетела мимо, и извещалось об этом каждый раз по-мальчишески звонко и почти радостно. Рота рассыпалась и падала по команде капитана – четкой и торжественно напряженной, как на параде. Сам капитан оставался стоять на месте лицом к полеглим, и с губ его не сходила всем знакомая надменно-ироническая улыбка, и из рук, затянутых тугими кожаными перчатками, он не выпускал ивовый прут, до половины очищенный от коры. Каждый курсант знал, что капитан называет эту свою лозинку «стэком», потому что каждый – еще в ту, мирную пору – ходил в увольнение с такой же хворостинкой. Об этом капитану было давно известно. Он знал и то, кому подражают курсанты, упрямонося фуражки чуть-чуть сдвинутыми на правый висок, и, может, по этому самому ему нельзя было падать.

Рота шла вторые сутки, минуя дороги и обходя притаившиеся селения. Впереди – и уже недалеко – должен быть фронт. Он рисовался курсантам зримым и величественным сооружением из железобетона, огня и человеческой плоти, и они шли не к нему, а в него, чтобы заселить и оживить один из его временно примолкших бастионов...

Снег пошел в полдень – легкий, сухой, голубой. Он отдавал запахом перезревших антоновских яблок, и роте сразу стало легче идти: ногам сообщалось что-то бодрое и веселое, как при музыке. Капитана по-прежнему отделяли от колонны шесть строевых шагов, но за густой снежной завесой он был теперь почти невидим, и рота – тоже как по команде – принялась добивать на ходу остатки галет – личный трехдневный НЗ. Они были квадратные, клеклые и пресные, как глина, и капитан скомандовал: «Отставить!» – в тот момент, когда двести сороков уже жевали двести сорок галет. Капитан направился к роте стремительным шагом, неся на отлете хворостину. Рота приставила ногу и ждала его, дружная, виноватая и безгласная. Он

пошел в хвост колонны, и те курсанты, на кого падал его прищуренный взгляд, вытягивались по стойке «смирно». Капитан вернулся на прежнее место и негромко сказал:

– Спасибо за боевую службу, товарищи курсанты!

Рота угнетенно молчала, и капитан не то засмеялся, не то закашлялся, прикрыв губы перчаткой. Колонна снова двинулась, но уже не на запад, а в свой полутыл, в сторону чуть различимых широких и редких построек, стоявших на опушке леса, огибаемого ротой с юга. Это сулило привал, но если бы капитан оглянулся и встретился с глазами курсантов, то, может, повернул бы роту на прежний курс.

Но он не оглянулся. То, что издали рота приняла за жилые постройки, на самом деле оказалось скирдами клевера. Они расселись вдоль восточной опушки леса – пять скирдов, – и из угла крайнего и ближнего к роте на волю крадучись пробивался витой столбик дыма. У подножия скирдов небольшими кучками стояли красноармейцы. В нескольких открытых пулеметных гнездах, устланных клевером, на запад закликающе обернули хоботки «максимы». Заметив все это, капитан тревожно поднял руку, останавливая роту, и крикнул:

– Что за подразделение? Командира ко мне!

Ни один из красноармейцев, стоявших у скирдов, не сдвинулся с места. У них был какой-то распушенно-неряшливый вид, и глядели они на курсантов подозрительно и отчужденно. Капитан выронил стэк, нарочито заметным движением пальцев расстегнул кобуру ТТ и повторил приказание. Только тогда один из этих странных людей не спеша наклонился к темной дыре в скирде:

– Товарищ майор, там...

Он еще что-то сказал вполголоса и тут же засмеялся отрывисто-сухо и вместе с тем как-то интимно-доверительно, словно намекал на что-то, известное лишь ему и тому, кто скрывался в скирде. Все остальное заняло не много времени. Из дыры выпрыгнул человек в короткополом белом полушубке. На его груди болтался не виданный до того курсантами автомат – рогато-черный, с ухватистой рукояткой, чужой и таинственный. Подхватив его в руки, человек в полушубке пошел на капитана, как в атаку – наклонив голову и подавшись корпусом вперед. Капитан призывно оглянулся на роту и обнажил пистолет.

– Отставить! – угрожающе крикнул автоматчик, остановившись в нескольких шагах от капитана. – Я командир спецотряда войск НКВД. Ваши документы, капитан! Подходите! Пистолет убрать.

Капитан сделал вид, будто не почувствовал, как за его спиной плавным полукругом выстроились четверо командиров взводов его роты. Они одновременно с ним шагнули к майору и одновременно протянули ему свои лейтенантские удостоверения, полученные лишь накануне выступления на фронт. Майор снял руки с автомата и приказал лейтенантам занять свои места в колонне. Сжав губы, не оборачиваясь, капитан ждал, как поступят взводные. Он слышал хруст и ощущал запах их новенькой амуниции – «прячут удостоверения» – и вдруг с вызовом взглянул на майора: лейтенанты остались с ним.

Майор вернул капитану документы, уточнил маршрут роты и разрешил ей двигаться. Но капитан медлил. Он испытывал досаду и смущение за все случившееся на виду курсантов. Ему надо было сейчас же сказать или сделать что-то такое, что возвратило и поставило бы его на прежнее место перед самим собой и ротой. Он сдернул перчатку, порывисто достал пачку папирос и протянул ее майору. Тот сказал, что не курит, капитан растерянно улыбнулся и доверчиво кивнул на вороватый полет дымка:

– Кухню замаскировали?

Майор понял все, но примирения не принял.

– Давайте двигайтесь, капитан Рюмин! Туда двигайтесь! – указал он немецким автоматом на запад, и на его губах промелькнула какая-то щупающая душу усмешка.

Уже после команды к маршу и после того, как рота выпрямила в движении свое тело, кто-то из лейтенантов запоздало и обиженно крикнул:

– А мы, думаете, куда идем? В скирды, что ли?

В колонне засмеялись. Капитан оглянулся и несколько шагов шел боком...

Курсанты вошли в подчинение пехотного полка, сформированного из московских ополченцев. Его подразделения были разбросаны на невероятно широком пространстве. При встрече с капитаном Рюминым маленький измученный подполковник несколько минут глядел на него растроганно-завистливо.

– Двести сорок человек? И все одного роста? – спросил он и сам зачем-то привстал на носки сапог.

– Рост сто восемьдесят три, – сказал капитан.

– Черт возьми! Вооружение?

– Самозарядные винтовки, гранаты и бутылки с бензином.

– У каждого?

Вопрос командира полка прозвучал благодарностью. Рюмин увел глаза в сторону и как-то недоуменно-неверяще молчал. Молчал и подполковник, пока пауза не стала угрожающе длинной и трудной.

– Разве рота не получит хотя бы несколько пулеметов? – тихо спросил Рюмин, а подполковник сморщил лицо, зажмурился и почти закричал:

– Ничего, капитан! Кроме патронов и кухни, пока ничего!..

От штаба полка кремлевцы выдвинулись километров на шесть вперед и остановились в большой и, видать, когда-то богатой деревне. Тут был центр ополченской обороны и пролегал противотанковый ров. Косообрывистый и глубокий, он тянулся на север и юг – в бескрайние, чуть заснеженные дали, и все, что скрывалось впереди него, казалось угрожающе-таинственным и манящим, как чужая неизведанная страна. Там где-то жил фронт. Здесь же, позади рва, были всего-навсего дальние подступы к Москве, так называемый четвертый эшелон.

2

В северной части деревня оканчивалась заброшенным кладбищем за толстой кирпичной стеной, церковью без креста и длинным каменным строением. От него еще издали несло сывороткой, мочой и болотом. Капитан сам привел сюда четвертый взвод и, оглядев местность, сказал, что это самый выгодный участок. Окоп он приказал рыть в полный профиль. В виде полуподковы. С ходами сообщения в церковь, на кладбище и в ту самую пахучую постройку. Он спросил командира взвода, ясен ли ему план оборонительных работ. Тот сказал, что ясен, а сам стоял по команде «смирно» и изумленно глядел не в глаза, а в лоб капитана.

– Ну что у вас? – недовольно сказал капитан.

– Разрешите обратиться... Чем рыть?

Командир взвода спросил это шепотом. У капитана медленно приподнялась левая бровь, и от нее наискось через лоб протянулась тонкая белая полоска. Он качнулся вперед, но лейтенант поспешно сам ступил к нему навстречу, и капитан сказал ему почти на ухо:

– Хреном! Вас что, Ястребов, от соски вчера отняли?

Алексей сразу не понял смысла сказанного капитаном. Он лишь уловил в его голосе приказ и выговор, а на это всегда надо было отвечать одним словом, и он сказал: «Есть!»

– Окоп отрыть к шести ноль-ноль! – строго напомнил капитан и пошел вдоль улицы – прямой, высокий и в талии как рюмка. Через несколько шагов он вдруг обернулся и позвал: – Лейтенант!

Алексей подбежал.

– Взвод разместите в крайних семи домах. Спросите там лопаты и кирки. Ясно?

Взвод перекуривал у церкви. Алексей отозвал в сторонку своего помощника и отделенных и слово в слово передал им приказ капитана. Он сохранил все оттенки его голоса, когда спрашивал, ясен ли план оборонительных работ. Любой из этих пяти курсантов сразу и навсегда обрел бы в нем тайного друга, если б задал вопрос, чем рыть окоп. Тогда все повторилось бы – от хрена с соской до лопат и кирок – и горячая тяжесть стыда перед капитаном оказалась бы поделенной с кем-то поровну. Но помкомвзвода сказал:

– Рыть так рыть. Третье отделение, живо по хатам шукать ломы и лопаты, пока другие не захватили!

И через час четвертый взвод рыл окоп. Полуподковой. В полный профиль. С ходами сообщения в церковь, на кладбище и в опустевший коровник. Только на этот срок и хватило у Алексея досады и горечи от разговора с капитаном. У него снова и без каких-либо усилий образовался прежний порядок мыслей, чувств и представлений о происходящем. Все, что сейчас делалось взводом и что было до этого – утомительный поход, самолеты, – все это во многом походило на полевые тактико-инженерные занятия в училище. Обычно они заканчивались через три или шесть дней, и тогда курсанты возвращались в казармы и учебные классы, где опять начиналась размеренно-сучная жизнь с четкой выправкой тела и слова, с тревожно-радостной, никогда не потухающей мечтой об аттестации. Дальше этого не избалованный личным напряжением мозг Алексея отказывался рисовать что-либо определенно зримое.

В то, что он уже две недели как произведен в лейтенанты и назначен командиром взвода, Алексей верил с большим трудом. Временами ему казалось, что это еще не взаправду, это только так, условно, как на занятиях, и тогда он тушевался перед курсантами и обращался к ним по имени, а не так, как было положено по уставу.

С еще более нечетким и зыбким сознанием воспринималась им война. Тут он оказывался совершенно беспомощным. Все его существо противилось тому реальному, что происходило, – он не то что не хотел, а просто не знал, куда, в какой уголок души поместить хотя бы временно и хотя бы тысячную долю того, что совершалось, – пятый месяц немцы безудержно продвигались вперед к Москве... Это было, конечно, правдой, потому что... потому что об этом говорил сам Сталин. Именно об этом, но только один раз, прошедшим летом. А о том, что мы будем бить врага только на его территории, что огневой залп нашего любого соединения в несколько раз превосходит чужой, – об этом и еще о многом, многом другом, непоколебимом и неприступном, Алексей – воспитанник Красной Армии – знал с десяти лет. И в его душе не находилось места, куда улеглась бы невероятная явь войны.

Окоп был отрыт к установленному сроку. Только ход сообщения в церковь вывести не удалось: двухметровой толщины каменный фундамент уходил куда-то в преисподнюю. Помкомвзвода предложил пробить в фундаменте брешь связкой гранат, но Алексей сказал, что на это нужно разрешение капитана.

Утро наступило немного морозное, сквозное и хрупкое, как стекло. Прямо над деревней стыло мерк месяц. Первый снег так и не растаял. За ночь он слежался в тонкий и гладкий, как бумага, пласт. К ротному КП Алексей пошел по задворкам, ненужно далеко обойдя кладбище, – снег тут был нетронут чист, и он осторожно и радостно печатал его новыми сапогами, и они казались ему особенно уютными и фасонистыми. «В хромовых бы сейчас! Я их еще ни разу не надевал...»

Командный пункт размещался в центре деревни в кокетливом деревянном домишке под железной крышей. Над его крыльцом висел бурый лоскут фанеры с чуть проступавшими синими отечными буквами: «Правление колхоза „Рассвет“.» Связной курсант доложил Алексею, что капитан только что ушел в третий взвод.

– Это на левом фланге, – вдруг с начальническим видом объяснил он, но, смущенный своим тоном, тут же добавил: – А ваш правый, товарищ лейтенант...

Алексей снова вышел на задворки, неся в себе какое-то неумное притаившееся счастье – радость этому хрупкому утру, тому, что не застал капитана и что надо было идти куда-то по чистому насту, радость словам связного, назвавшего его лейтенантом, радость своему гибкому молодому телу в статной командирской шинели – «как наш капитан!» – радость беспричинная, гордая и тайная, с которой хотелось быть наедине, но чтобы кто-нибудь видел это издали. Он шел мимо обветшалых сараев, давно, видать, заброшенных и никому не нужных, и в одном из них, горбатым и длинным, как рига, еще издали заметил настежь распахнутые ворота, а в их темном зеве – неяркий свет не то фонаря, не то костра. Алексей направился к сараю и в глубине его увидел кухню с разведенной топкой, облепленную засохшей грязью полуторку, старшину и несколько курсантов из первого взвода. Ни кухни, ни полуторки на марше не было, но у Алексея даже не возник вопрос, откуда они появились, и, не расставаясь со своим настроением, он громко и весело крикнул:

– Здравия желаю, товарищи тыловики!

Ему ответили сдержанно, по-уставному, – старшина тоже, – и из-за кузова полуторки вышел капитан. Он опять был с хворостинкой и застегнут и затянут так, словно никогда не раздевался. Он козырнул Алексею издали, какую-то долю секунды подержал поднятой левую бровь и сказал:

– Старшина! Четвертый взвод получает еду первым, третий – вторым, а первый – последним. Лейтенант! Возьмите здесь каски для взвода и три ящика патронов. Сообщите об этом лейтенанту Гуляеву. Окоп готов?

Алексей доложил. Подорвать фундамент церкви капитан не разрешил. По его мнению, четвертый взвод должен беречь свои гранаты для других целей.

Соседом слева у Алексея был второй взвод. Его окоп извилисто пролегал в глубь деревни на виду противотанкового рва. На стыке взводов в кольце голых осин одиноко стояла опрятная, побеленная снаружи изба, за десяток шагов еще пахнувшая простоквашей – когда-то тут был сепараторный пункт. Командира второго взвода Алексей нашел в этой избе: тот заканчивал банку судака в томатном соусе.

– И пуля попэ-эрла по каналу ствола! – остановившись у порога, сказал Алексей, подражая преподавателю внутренней баллистики в училище майору Сучку.

Они несколько минут хохотали, не сходясь еще, мимикой и жестами копируя движения и походку чудаковатого майора, потом разом подобрались, вспомнив о своих занятиях, и Алексей сказал о кухне, касках и патронах.

– Вам все ясно, лейтенант Гуляев?

– Ясно, – солидно отозвался Гуляев. – Сейчас пошлю получать. Второй взвод не задержится, это вам не какой-нибудь там четвертый.

– При отступлении тоже?

– Русская гвардия никогда не отступала, лейтенант Ястребов! Пошли, покажу свое хозяйство.

На крыльце надо было зажмуриться. Снег не блестел, а сиял огнисто, переливчато-радужно и слепяще – солнце взошло прямо за огородами деревни. Свет все нарастал и ширился, и вместе с ним, по рву, в деревню накатно, туго и плотно входил рокот. Алексей и Гуляев обогнули угол избы. Впереди рва, пока хватало глаз, пустынно сиял снег, и на нем нарисованно голубел лес, а ближе и левее чуть виднелось какое-то селение.

– Самолеты! – сказал Гуляев. – Видишь? На четыре пальца правее леса гляди... Ну?

– Это галки там, – не сразу, но слишком своим голосом сказал Алексей, а рокот уже перерос в могучий рев, и теперь было ясно, что лился он с неба. Самолеты и в самом деле шли кучной и неровной галочьей стаей; они увеличивались с каждой секундой, и круги пропеллеров у них блестели на солнце, как матовые зеркала. Их было не меньше пятидесяти штук. Каж-

дый летел в каком-то странном ныряющем наклоне, с растопыренными лапами, с коричневым носом и отвратительным свистящим воем.

– Заходят на нас! – почти безразлично сказал Гуляев, и Алексей увидел его мгновенно побелевший, совершенно обескровевший нос, и сам ощутил, как похолодело в груди и сердце резкими толчками начало подниматься к горлу.

– Пошли по взводам? – спросил он у Гуляева. Тот кивнул, и каждый подумал, что не побежит первым.

Они пошли под осинами томительно медленно, но бессознательно тесно, и оба были похожи на людей, застигнутых ливнем, когда укрываться негде и не стоит уже. Рев в небе превратился к тому времени в какую-то слитную чугунную тяжесть, отвесно падающую на землю, и в нем отчетливо слышался прерывистый шелест воздуха. Упали они одновременно, плашмя, под одной осиной, и мозг каждого одновременно отсчитал положенное число секунд на приближение шелестящих смертей. Но удара не последовало. Наверное, они одновременно открыли глаза, потому что разом увидели метавшиеся по снегу, по осинам и по ним самим лохматые сумеречные тени от пролетающих самолетов. И они разом поднялись на ноги, и Гуляев устало сказал:

– На Клин пошли...

У него по-прежнему был белый и острый, как бумажный кулечек, нос. Не сводя с него глаз, Алексей сказал шепотом:

– Ну, я пойду к себе, Сашк.

– Ну, пока, Лешк. Заглядывай.

3

Через час над деревней к востоку прошла новая группа самолетов. Потом еще, еще и еще. Капитан распорядился не дразнить их ружейным огнем: деревню населяли молчаливые женщины да дети и нужно было поспрятать их в убежище. Землянки для них предполагалось рыть на околице, но бабы ни за что не хотели вылезать из погребов, расположенных во дворах.

Всякий раз, когда самолеты скрывались и наступала расслабляющая тишина, земля еще долго сохраняла в своих глубинах чуть ощутимую зябкую дрожь. Это было особенно заметно в окопе, и тогда почему-то хотелось зевать и тело непроизвольно льнуло к стенке окопа. В такие межсамолетные паузы из сверкающей дали лениво прикатывались заглушенные обвальные взрывы: где-то там впереди по-живому ворочался и стонал фронт.

Четвертый взвод маскировал, прихорашивал и обживал свой окоп. Желто-коричневый гребень бруствера присыпали снегом, дно устлали соломой, в передней стенке нарыли печурок и углублений. Для Алексея курсанты оборудовали что-то похожее на землянку, только без наката и насыпи, но со множеством замысловатых по форме ниш – помкомвзвода разложил там гранаты и расставил бутылки с бензином. Все тут: приглаженно-ровный козырек бруствера, отшлифованно-четкий срез стен, какой-то русско-византийский овал печурок и ниш – все это было сделано и отделано с тем сосредоточенным старанием, которое полностью исключает чувство тревоги и опасности. Видно, оттого окоп и не выглядел так, как положено на войне: в нем было что-то затаенно мирное и почти легкомысленное.

Во второй половине дня самолеты не появлялись, но оттуда, где синей извилиной лес призрачно намечал зыбучую кромку горизонта, в окопы все чаще и явственней доносился раздерганно-клочковатый гул. Временами, когда гул спадал, можно было расслышать протяжные и слитные звуковые вспышки, словно кто-то недалеко и скрытно разрывал на полосы плащ-палатку.

Прекратилось это внезапно, сразу. А часа через полтора от опушки леса начали отрываться и двигаться по полю темные точки. С каждой минутой их становилось все больше и

больше, и было уже ясно, что это люди, но шли они как-то зигзагами, рассеянно, мелкими кучками и поодиночке.

– Товарищ лейтенант! Видите? – тревожно и радостно крикнул Алексею кто-то из курсантов. – Может, это ихние диверсанты просочились? Подпустим? Или как?

В разрыве леса и чуть видимого селения висело лохматое закатное солнце, похожее на стог подожженной соломы. Смотреть вперед можно было лишь сквозь ресницы, и все же Алексей угадал своих. Свои были у людей походки, свои шинели, свои каски и шапки.

– Это наши, славяне! – разочарованно сказал помкомвзвода, и Алексей чуть не спросил у него – откуда это они так?

На виду рва бредшие по полю сошлись вместе и построились в колонну по три. В строю людей оказалось совсем немного – не больше взвода, и они долго почему-то стояли на месте, совещаясь видно, потом разделились на четыре группы и пошли к деревне, сохраняя дистанцию и забирая в сторону окопа четвертого взвода. Еще утром, возвращаясь от Гуляева, Алексей заметил в скосе противотанкового рва напротив коровника небольшой оползень. Его надо было скрыть и почистить, но он забыл о нем, и теперь незнакомые бойцы избрали это место для прохода через ров.

Первым по оползню выбрался невысокий человек в темной командирской шинели. Оглянувшись на окоп, он припал на колени и начал кого-то тянуть к себе то ли за ремень, то ли за конец палки. Алексей вызвал двух курсантов и пошел ко рву. У того, что стоял там на коленях, в выцветших черных петлицах алели капитанские шпалы, и тащил он из рва за ствол винтовки грузного пожилого красноармейца в непомерно широкой шинели. Узенький брезентовый ремень опоясывал бойца чуть ли не ниже бедер, и это, возможно, мешало ему переступить ногами: ухватившись за винтовку, он откидывался назад, повисая над уклоном всем корпусом, и сразу же начинал раскачиваться из стороны в сторону, как маятник.

– Разрешите помочь, товарищ капитан! – сказал Алексей.

Капитан молча кивнул и судорожно переложил оголенные руки на стволе винтовки, освобождая место. Алексей потянул за винтовку, и красноармеец мелкими, спутанными шагами пошел вверх. У него было по-женски белое и круглое лицо без признаков растительности;

старенькая пилотка нелепо сидела поперек бритой головы, и, подымаясь, он как-то болезненно-брезгливо глядел куда-то мимо капитана и Алексея.

– Ногами работай, друг! Ногами! – посоветовал один из курсантов.

Стоявшие внизу бойцы сдержанно засмеялись.

Алексей спросил капитана:

– Он ранен?

– Нет, – сквозь зубы сказал капитан.

– А что же?

– Ну... не может... Не видите, что ли?

Очутившись наверху, красноармеец отошел в сторонку и обиженно отвернулся, закинув руки за спину. Остальные бойцы преодолели ров легко и споро, подпирая друг друга прикладами. Без команды они торопливо построились на краю рва и остались стоять там, переговариваясь полупшепотом. Капитан спросил, чья у него винтовка, и из строя вышел маленький боец, увешанный по бокам вещмешком и противогазной сумкой. Винтовку он взял у капитана рывком, будто отнял, и сразу же кинулся назад, к своим. Пониже спины в его шинели виднелась большая округлая дырка с обуглившимися краями, и на ходу боец все пытался прикрыть прожог ладонью.

Если б капитан сразу же приказал своему отряду двигаться, у Алексея не возник бы вопрос, откуда и куда он идет. Но капитан долго и старательно вытирал руки подолом шинели, хотя были они чистые, и то и дело поглядывал в сторону обособленно стоявшего красноармейца. Тот по-прежнему смотрел куда-то за окоп, и ремень на нем совсем съехал вниз.

«Наверно, вестовой его, – решил Алексей, – мне бы с ним минут сорок заняться по-пластунски...» К бойцам, тихо стоявшим в строю, из окопа начали подходить курсанты со своими СВТ. Алексей заметил, как испытующе тревожно поглядел на них капитан, и неожиданно для самого себя спросил:

– Откуда вы идете, товарищ капитан?

Тот опять взглянул на одинокого красноармейца и не ответил. Алексей подвинулся к курсантам и повторил вопрос.

– Мы вышли из окружения! – озлобленно сказал капитан и носком сапога сбил комок глины в ров. – И нечего нас тут допрашивать, лейтенант! Накормите вот лучше людей! Двое суток, черт бы его драл...

– Почему вы сюда... Где фронт? – торопясь и все больше пугаясь чего-то непонятного, перебил Алексей, и в наступившей тогда тишине к нему тяжело пошел безоружный красноармеец.

– А ты где находишься? Ты не на фронте? Где ты находишься? А? – не вынося из-за спины рук, кидал он под свой шаг гневным, устоявшимся в обиде голосом.

Алексей едва ли осознал, зачем он пошел навстречу красноармейцу и почему спрятал руки в карманы шинели. Он столкнулся с ним грудь с грудью и, задохнувшись, визгливо выкрикнул за два приема:

– Где ваша... винтовка, товарищ боец?!

– Я воевал не винтовкой, а дивизией, лейтенант! – тоже фальцетом крикнул красноармеец и стал по команде «смирно». – Приведите себя в порядок! Как стоите? Я генерал-майор Переверзев! Кто у вас старший? Что за подразделение? Проведите меня к своему командиру!

Забыв отступить и только качнувшись назад, Алексей вытянулся и расправил плечи, как на учебном плацу. За какую-то долю секунды стоявший перед ним человек преобразился в его глазах полностью и совершенно – в нем все теперь казалось ему иным, большим, генерал-майорским, кроме ремня, шинели и пилотки, и, вспомнив, как он переходил ров, Алексей враз постиг и поведение капитана, и почему бойцы не помогли ему снизу прикладами, а после стояли в стороне и переговаривались шепотом... Не сходя с места, Алексей крикнул через плечо:

– Помкомвзвода! Проводи товарища генерал-майора к капитану!

– Сам пойдешь! – сказал Переверзев, и Алексей пошел с левой ноги строевым шагом, тесно прижав руки к бокам. Следом за ним двинулся генерал-майор, потом капитан и бойцы.



Миновав окоп своего взвода и выйдя на улицу, Алексей еще издали увидел капитана Рюмина: он стоял у сепараторного пункта и что-то объяснял Гуляеву, показывая лозинкой то на осины, то на окопы и ров.

Заметив подходящих, капитан выжидающе поднял лицо, а Алексей пошел как под знаменем, вскинув к голове руку.

О генерал-майоре он докладывал путано, и с каждым его словом у капитана все выше приподнималась левая бровь. Как зачарованный он смотрел на ремень Переверзева и вдруг побледнел и сказал чуть слышно:

– Предъявите ваши документы!

– Я попрошу не здесь, – увялым баском сказал Переверзев.

Рюмин повернулся к нему спиной и приказал Алексею:

– Назначьте себе связного! Вы не должны каждый раз отлучаться... Ваше место во взводе, лейтенант!

4

Вечером капитан вызвал к себе командиров взводов и приказал им выдвинуть за ров по одному отделению. Курсанты там должны встречать и направлять в обход своих окопов всех, кто будет идти от леса.

– Всех в обход! – сказал капитан. – В разговоры ни с кем из них не вступать! Бойцам и командирам объяснять, что переформировочный пункт и госпиталь, куда они направляются с фронта, находится в четырех километрах правее и сзади нас.

В четвертый взвод капитан пришел почти вслед за Алексеем и, не спускаясь в окоп, долго стоял молча, не то вслушиваясь, не то вглядываясь в то, что смутно проступало впереди рва. Было тихо. Луна взошла задернутая желто-коричневой пеленой, и стало еще тягостнее и тревожнее от ее мутно-бутылочного света и оттого, что в деревне начали кричать еле слышными подземельными голосами петухи, – в погребках, видно, сидели. Алексей стоял в шаге от капитана, непроизвольно вытягиваясь в струнку, и, не глядя на него, капитан сказал:

– Бросьте тянуться, Ястребов! Вы не на экзамене... Кстати, что вам говорил о фронте... красноармеец Переверзев?

Пачка «Беломорканала» слежалась лепешкой, и Алексей никак не мог ухватить сплюснутый мундштук папиросы. Он хотел предложить капитану папиросу, но не сделал этого и закурил без его разрешения. Он молчал, затягиваясь до тошнотворной рези в груди, и тогда капитан спросил еще:

– Курсанты все слышали?

– Все, – сказал Алексей. – Генерал-майор...

– Хорошо, – перебил капитан. – Объясни, пожалуйста, взводу, что это был не генерал, а боец... Контуженый. Установил это я сам. Понимаешь?

– Я все понял, – негромко сказал Алексей, с какой-то обновленной преданностью глядя в глаза Рюмина.

– Обстановка не ясна, Алексей Алексеевич, – неожиданно и просто сказал капитан. – Кажется, на нашем направлении прорван фронт... – И все тем же, немного не своим и немного не военным, тоном капитан сказал, что ночью за ров пойдет разведка и что от штаба ополченского полка должны тянуть сюда связь и должны подойти соседи слева и справа. Ушел Рюмин тоже не по-своему – он не приказал, а посоветовал выставить за кладбищем усиленный пост, порывисто сжал руку Алексея и легонько толкнул его к окопу.

До полночи от невидимого леса мимо деревни прошло до батальона рассеянной пехоты, проехали несколько всадников и три повозки. Все это двигалось в сторону, где, по словам капитана Рюмина, находился переформировочный пункт: отступающие наталкивались в поле на посты курсантов, забирали вправо, и рядом с ними по полю волочились длинные четкие тени. Все это время Алексей был в окопе с дежурным отделением, и когда скрылись повозки и поле очистилось от их копнообразных теней, он решил ничего не говорить курсантам о красноармейце, выдавшем себя за генерала. К чему? Теперь и без контуженых все было ясно...

В половине третьего из-за рва возвратились наряды, а ровно в пять капитан отдал приказ привести взводы в боевую готовность. «Наверное, вернулась разведка!» – подумал Алексей, и с него мгновенно слетела та продрогло-цепенящая усталость, которая обволакивает человека в зимнюю бессонную ночь. Почти бессознательно он надел каску, затянул на одну дырочку поясной ремень и только после этого распорядился поднять по тревоге остальные отделения, отдыхающие в крайних избах.

Еще днем курсанты плотно утоптали и приноровили к собственному характеру и к оружию свои места в окопе, – тогда каждый был друг от друга на расстоянии в полметра. Теперь же все пятьдесят два человека образовали слитную извилистую шеренгу и, толкаясь локтями и гремя винтовками, не думали разойтись попросторнее. Может, каски, а может, лунный полусвет делали курсантов противоестественно высокими и обманчиво загадочными. Они повозились и разом затихли, обернув стволы винтовок в стылую сумеречь рва и поля. В деревне в это время начали дымиться трубы – украдкой, через две-три хаты, и в окопах запахло хвоей, жареным луком и картошкой. Как удар, Алексей ощутил вдруг мучительное чувство родства, жалости и близости ко всему, что было вокруг и рядом, и, стыдась больно навернувшихся слез, он крикнул иступленно, с непонятной обидой и злостью ко всему тому, над чем только что чуть не плакал:

– Рассредоточиться, черт возьми! Всем по своим местам!!

Команда была выполнена немедленно и молча, и в чуткой предутренней тишине из погребов опять пробились петушьи голоса. Кто-то из курсантов сказал мечтательно, в сладком молодом потяге:

– Сейчас бы кваску покислей да... рукавичку потесней! А-ахх!

И вокруг озорно и сочувственно засмеялись.

За деревней помаленьку светлело небо, и в той его части розово мигали и гасли звезды. У сепараторного пункта стали проглядываться верхушки осин. Повернув кудлатые головы к ветру, на них сидели вороны, и в улицу падал их резкий простылый крик, – наступало утро. Алексей изо всех сил боролся с дремотой, и было невозможно унять мелкую трепетную дрожь мышц, и поминутно надо было ходить по малой нужде. Он стоял спиной ко рву, когда несколько курсантов разнобойно крикнули: «Стой, кто идет?» От пролаза во рву к окопу не спеша шел широкий приземистый человек в хитро надетой шапке – один ушной клапан был опущен, а другой поднят вверх, и винтовку человек нес по-охотничьи, стволом в землю, и было ясно, что это свой, и окликали его для порядка, о чем он, видно, хорошо знал, потому что не останавливался и не отзывался. Подойдя к брустверу и оглядев окоп, красноармеец напевно сказал:

– Ну во-от. Не шибко прилаживался, а хорошо попал. Пер, пер по этой вашей канаве, а тут гляжу – маковка церковная...

Он выглядел за сорок – возраст, на взгляд курсантов, уже стариковский, и у него было поранено ухо, темневшее комком запекшейся крови. Он сел в окопе у ног Алексея на свою противогазную сумку, и она даже не поморщилась под ним – до такой степени оказалась набитой каким-то солдатским хозяйством. Его никто ни о чем не спрашивал, и он сам сказал о своем ухе:

– Прикроешь шапкой – и сразу нудить начинает. А на холоде вроде ничего...

– Перевязать надо, – морщась, сказал Алексей. – Чем это вас?

– Осколком. Как перепел: фпр – и ни его, ни уха. Даже не почувал.

Он улыбнулся, но как-то больно, одной стороной лица, и помкомвзвода спросил тогда:

– У вас командиром дивизии был не генерал-майор Переверзев?

– Этого не знаю, брат, – ответил боец. – С начальством я знаком мало. А что?

– Товарищ генерал на полсутки пораньше тебя переправился тут, – баском сказал кто-то из курсантов.

– Ну, большой меньшего в таких делах не дожидается, – назидательно рассудил боец. – Что ему: голова на плечах, шапка небось нахлобучена на оба уха...

– Он в красноармейской пилотке... и в шинели без петлиц, – опять сказал тот же курсант, но уже с особой интонацией в голосе.

– Да ну? – бесстрастно, для вида, удивился раненый. И, помолчав, добавил: – Выходит, недавно человек ослеп, а уже ничего не видит... Нас там хотя и полегла тьма, но живых-то еще больше осталось! Вот и блуждаем теперь... А он вроде того мужика – воз под горой лежит, зато вожжи в руках...

– Ну, вот что, нечего тут, – растерянно сказал Алексей. – Кончай разговоры. Всем по местам!

Курсанты снова четко и молча выполнили приказание, а боец, только теперь разглядев кубари Алексея, начал было привставать с сумки. Но раздумал и больно улыбнулся одной стороной лица.

– Тут горе вот какое, товарищ командир, – виновато заговорил он, косясь на нишу, где синели бутылки с бензином. – Ведь танку в лоб не проймешь такой поллитрой! Тут надо ждать, пока она репицу свою подставит тебе... Мотор там у нее спрятан, вот штука-то! А тогда уже поздно бывает – окопы распаханы, люди размяты... Что делать-то будем, а?

– Вы давайте в госпиталь! Это вон в том направлении, – строго сказал Алексей и зачем-то загородил собой нишу.

– А может, мне у вас остаться? – спросил боец. – Ухо мое и без докторов присохнет.

– Давайте в госпиталь! – повторил Алексей. – У нас вам оставаться нельзя. Мы... – И не сказал, что хотел.

Боец насмешливо оглядел его с ног до головы, встал и разом вскинул на плечи винтовку и сумку.

– Ну что ж... Тогда пошли, кургузка, недалеко до Курска, семь верст отъехали, семьсот ехать! – стихом проговорил он и умеючи вылез из окопа.

В девятом часу к четвертому взводу – тоже, видать, на церковную маковку – от леса петляючи и осторожно поползли два грязно-серых броневика. Еще на середине поля они немного разъехались в стороны, и к деревне беззвучно и медленно потянулись от них разноцветные фосфоресцирующие трассы. Пули воробьиной стаей прочирикали над окопом, и потом уже долетел слитный стрекот пулеметов и стал натужнее вой моторов, – броневики на малых скоростях закружили на месте.

Алексей не спеша обнажил пистолет и перестал дышать. Вот они, немцы! Настоящие, живые, а не нарисованные на полигонных щитах!.. Ему было известно о них все, что писалось в газетах и передавалось по радио, но сердце упрямялось до конца поверить в тупую звериную жестокость этих самых фашистов; он не мог заставить себя думать о них иначе как о людях, которых он знал или не знал – безразлично. Но какие же эти? Какие? И что сейчас надо сделать? Подать команду стрелять? «Нет, сначала я сам. Надо сперва самому...»

С локтя, в напряженном ожидании какого-то таинства, Алексей дважды выстрелил из пистолета в тупое рыло одного и второго броневика, и сразу же взвод ахнул залпом, а дальше выстрелы посыпались в самозабвенной торопливой ярости, и Алексей опять начал прицельно бить – раз по одному броневику, раз – по второму. Не отвечая, броневики развернулись и помчались к лесу.

И только тогда Алексей понял, что стрелять было нельзя, и поглядел вдоль окопа. У курсантов возбужденно блестели под касками глаза; они молча и спешно наполняли магазины патронами.

– Вот врезали! Правда, товарищ лейтенант? – У помкомвзвода блестели зубы и трепетали ноздри.

– Сейчас нам капитан не так за это врежет, – сказал Алексей, заглядывая в ствол теплого пистолета. – Это ж разведчики были, а мы обнаружили себя раньше времени.

– Ну и черт с ними! Пускай знают!

– Что «знают»? – невольно входя в роль капитана, спросил Алексей.

– А все! – вызывающе сказал помкомвзвода. – Подумаешь! Пускай знают! Не прятаться же нам в скирды! Пускай знают!

Алексей помолчал и сказал:

– Ну пускай. Давай хлопочи насчет кормежки людей. Десятый час уже.

Вскоре во взвод пришел политрук роты Анисимов – тихий сутуловатый человек с большими молящими глазами. Курсанты давно знали, что у него катар желудка, и всем казалось, что ему постоянно нехорошо и больно, и всем становилось легче и веселее, когда он кончал политинформацию и уходил. Как-то весной еще Анисимов сказал на политзанятиях, что Англия наконец-то потеряла свое бывшее мифическое значение на морях и океанах. Он произнес это неуверенно и смущенно, и с тех пор курсанты называли его «мифическим значением».

Анисимов неловко сполз в окоп и спросил почти жалобно:

– Ну что, Ястребов, не подбили?

Наверное, его мутило – сине-желтый был, а глаза черные, круглые, просящие участия. Виновато и сострадательно глядя в них, Алексей негромко сказал:

– Задымил один, товарищ политрук...

– Ага! Вы их бронбойно-зажигательными?

– Наполовину с простыми. А первый, по-моему, задымил... Точно.

– Ну, пусть знают!

Анисимов сообщил взводу о результатах ночной курсантской разведки – деревня, что впереди, занята противником. Он призвал кремлевцев к стойкости и сказал, что из тыла сюда тянут связь и подходят соседи.

5

Погода испортилась внезапно. На окоп то и дело сыпалась дробная льдистая крупа, и каски звенели у всех по-разному. По-разному – то мягко-заглушенно, то резко-отчетливо – далеко за кладбищем прослушивался налетный, волнами, громовой гул, и тогда каски округло и медленно поворачивались туда, вправо. Политрук все не уходил, а на завтрак был плов, и неплотно прикрытый котелок Алексея давно стоял в нише и остывал каким-то нестерпимо томительным духом. «Гуляев небось не постеснялся бы. У того хватило б смелости и при капитане пожрать, – обиженно подумал Алексей, – а это „значение“ до вечера может сидеть тут. Что ему? У него катар!» Тогда Анисимов, все время клонивший ухо к низовому отдаленному грохоту справа, сказал: «Да!» Сказал убежденно и потерянно, как нечаянно открывший что-то ненужное, и в эту минуту высоко над церковью ломко и сочно разорвался пристрелочный снаряд. Неколебимо, как приклеенное, в небе повисло круглое черное облако, а немного погодя рядом с ним и все с тем же характерным чоком образовались еще два дегтярных пятна.

– Это шрапнель? – спросил Алексей.

Анисимов, стоявший рядом, трижды зачем-то хрумкнул кнопкой планшетки и не ответил: воздух пронизал тягучий, с каждым мигот толстеющий вой, пересекавший окоп и оборвавшийся где-то за коровником резко, облегченно, рассыпчато. И сразу же, еще над полем за рвом, возникли тонкие жала новых запевов. Как невидимая игла, звук сразу же впивался в темя, сверлил череп, придавливая голову вниз, и ничего нельзя было поделывать, чтоб не присесть и не зажмуриться в момент его обрыва. Это проделывали в окопе все – мерно, слаженно и молча, как физзарядку, и стволы винтовок на бруствере то приподнимались, то выпрямлялись, и никто из курсантов не оборачивался назад, туда, где рвались мины...

Через дворы и улицу линия взрывов медленно подвигалась ко рву. За гуляевским взводом большой ковылиной вырос и вверх пышно завился белый с желтыми прожилками дымный ствол. Из-под руки взглянув на него, Анисимов как-то отрешенно полез из окопа, но Алексей бессознательно властно потянул его за хлястик назад. Они на мгновение встретились глазами, и, приседая на дно окопа – над ними близко взвыло, – Анисимов торопливо сказал:

– Хорошо. Я останусь с вами, но командовать будете вы. Прикажете убрать сверху винтовки. Покорежит ведь...

То было первое боевое распоряжение Алексея, и хотя этого совсем не требовалось, он побежал по окопу, отрывисто выкрикивая команду и вглядываясь в курсантов – испытывают ли они при нем то облегчающее чувство безотчетной надежды, которое сам он ощущал от присутствия здесь старшего? Сразу же после его команды курсанты пружинисто садились на корточки спиной к внешней стороне окопа, зажав между коленями винтовки, и, встречаясь с его взглядом, каждый улыбался растеряннo-смущенно, одними углами губ – точь-в-точь как это только что проделал Алексей под взглядом политрука.

Мины падали теперь уже в нескольких шагах от окопа. Они взрывались, едва коснувшись земли, образуя круглые грязные логовца, и ни один осколок, казалось, не залетал в окоп вслепую, дуром – до того как удариться в бруствер или стенку, он какое-то время фурчал и кружился вверх, будто прилаживался, куда сесть. Пробегая по окопу под гнетущим излетным воем мин, Алексей каждую из них считал «своей» и инстинктивно держался поближе к той стене, в которую вжались курсанты. «Сейчас в меня... В меня! В меня!» Он знал, – а может, только хотел того, – что каждый курсант испытывает то же самое, и это неразделимо прочно роднило его с ними.

На стыке окопа и хода сообщения к кладбищу Алексей затормозил бег, оглядев узкий извилистый лаз хода. По нему и еще по тем двум, что уходили к церкви и коровнику, взвод мог одним рывком пересечь приближающийся к окопу минный вал. «Надо туда! Скорее туда!» Это не было решением. Это походило на внезапное открытие, когда в душу человека неожиданно врывается что-то радостно-большое, живое и победное. Жарким, никогда собой не слыханным голосом Алексей пропел:

– Взво-о-од! Поодиночке-е...

Курсанты начали привставать, выбрасывая перед собой винтовки и неизвестно к чему готовясь, и голосом уже иным – резким и испуганно-злым – Алексей крикнул: «Отставить!» – и побежал назад, к политруку, почти не наклоняясь и работая локтями, как бегал только в детстве. «Я скажу, что это не отступление! Мы же сразу вернемся, как только... Это ж не отступление, разве он не поймет?»

Но Алексей убеждал не политрука, а себя. Он твердо знал, что без приказа сверху Анисимов не разрешит оставить линию обороны. «Он подумает, что я... трус! Да-да! А если я уведу взвод без него, меня тогда...»

Впереди увязало глухо, не по-своему, треснула мина, и в грудь Алексея упруго двинул горячий ком воздуха. Он упал на колени, и сразу же его поднял тягучий, в испуге и боли крик:

– Я-астре-бо-ов!

Он побежал на голос, необыкновенно ясно видя и навсегда запоминая нелепо скорчившиеся фигурки курсантов, и когда сзади с длинным сыпучим шумом обрушился окоп, а его медленно приподняло и опустило, он еще в воздухе, в лете, увидел на дне окопа огромные глаза Анисимова и его гипсово-белые руки, зажавшие пучки соломы.

– Отре-ежь... Ну, пожалуйста, отре-ежь... – Анисимов ныл на одной протяжной ноте и на руках подвигался к Алексею, запрокинув непокрытую голову.

Первое, что осознал Алексей, это нежелание знать смысл того страшного, о чем просил Анисимов, но он тут же почему-то подумал, что отрезать у него нужно полы шинели – они всегда мешают ползти... Он вскочил на четвереньки и заглянул в ноги Анисимова – на мок-

рой, полуоторванной поле шинели там волочился глянцево-сизый клубящийся моток чего-то живого... «Это „они“...» – понял Алексей, даже в уме не называя своим именем то, что увидел. Он также почему-то не мог уже назвать Анисимова ни по фамилии, ни по чину и, преодолевая судорожный приступ тошноты, закричал, отворачивая глаза:

– Подожди тут! Подожди тут! Я сейчас...

Он бросился по окопу, не зная, куда бежит и что должен сделать, и тогда же окоп накрыло сразу несколькими минами. Еще до того, как упасть, Алексей с ужасом отметил, что ему никто не встретился из курсантов. Увидав нишу, он пополз к ней, выкрикивая шепотом:

– Я сейчас! Сейчас!

Он почти полностью затиснулся в нишу, обхватил голову руками и зажмурился и в темном грохоте и страхе в одну минуту понял все: и где находится взвод – «они сами ушли... по ходам сообщения», и зачем Анисимов просил отрезать «то», – «там у него была вся боль и смерть», и почему разрывы мин теперь слышались как из-под подушки, – «огневой вал сполз в ров, сейчас все кончится».

К церкви он пошел по открытому месту, и, заметив его, из-за ее колонн и с кладбища к ходам сообщения побежали курсанты. Алексей остановился, ощущая в себе какую-то жестокую силу и желание пережить все сызнова.

– По местам! Бегом! – отчужденно и властно крикнул он. – И без моего приказа ни шагу!

Он уже знал, что и как ему делать с собой в случае нового обстрела, и знал, что прикончит любого, кто, как он сам, потеряет себя хоть на секунду...

Обстрел прекратился, как только несколько мин взорвалось за рвом. Над деревней пластом колыхался мутно-коричневый прах, и пахло гарью, чесноком и еще чем-то кисло-вонючим, липко оседавшим в гортани. Кроме политрука, убитых в четвертом взводе не было. Раненых – все в спину – оказалось четверо, и помощник несколько раз спрашивал Алексея, что с ними делать.

– Дойти до КП могут? Где они? – спросил наконец Алексей.

– В коровнике. Лежащий только один... Воронков.

– Его надо отнести к санинструктору... И политрука тоже... Я пойду сам. А те трое пускай самостоятельно идут.

Он смотрел издали, как двое курсантов завертывали в плащ-палатку тело Анисимова, и смотрел только на их лица – курсанты отвернулись, когда сгребали вместе с соломой то, что было у ног убитого.

– Быстрее! – иступленно крикнул Алексей, злясь на себя, потому что к горлу опять подступил тошнотворный ком.

Курсанты неумело взялись за концы плащ-палатки и долго вылезали из окопа, а наверху то и дело останавливались, менялись местами и переругивались шепотом. Идя шагах в пяти сзади, Алексей не знал, снять ему шапку или нет. Они вошли в улицу, когда в воздухе послышался знакомый ведьмин вой, и курсанты присели рядом с ношей, не выпуская ее из рук, но мины взорвались на огородах – начиналось все сначала.

– Куда теперь, товарищ лейтенант?

Курсанты выкрикнули это удивительно похожими голосами и разом. Алексей махнул рукой в сторону осин, и они побежали, волоча по земле ношу. Она шарахалась из стороны в сторону и шумела, и за ней стлался черный зигзагообразный след, и Алексей бежал по его обочине, зачем-то ступая на носки сапог. Стволы осин у сепараторного пункта светились белыми ранами. На крыльце валялись ветви и крошево стекла.

– Кладите туда – и за мной! – приказал Алексей и побежал назад – в окоп влекло, как в родной горящий дом.

Еще издали, часто припадая к земле, он слышал в паузах между взрывами беспорядочную ружейную стрельбу в своем взводе. «Что там такое? Неужели атака?» Он взглянул на ров, но поле оставалось пустынно-дымным. «Куда они стреляют? В небо?»

Но курсанты били не вверх, а по горизонту.

– Прекрати-ить! Прекрати-ить! – на бегу закричал Алексей.

Помощник с лету подхватил команду, но сам выстрелил еще дважды.

Все повторялось с прежней расчетливой методичностью, огневой вал медленно катился ко рву. «Как только подойдет к улице, так мы... Я первым или последним? Наверно, надо первым... Это ж все равно что при атаке... А может, последним? Как при временном отступлении?...» Алексей загодя набрал в легкие воздух, и когда разрывы взметнулись на улице и сердце подпрыгнуло к горлу и затрепыхалось там, он снова не своим голосом, но уже до конца скомандовал взводу поодиночный побег из смерти... Он бежал последним по ходу сообщения к церкви и все время видел два полукруга желтых, до блеска сточенных гвоздей на каблуках чьих-то сапог – они будто совсем не касались земли и взлетали выше зада бегущего. Он так и не понял, когда курсанты успели закурить и присесть на корточки за церковью. И не узнал, кто бежал впереди. И не догадался, что это не икота, а загнанный куда-то в глубь живота ненужный слезный крик мешает ему что-нибудь сказать курсантам...

Алексей тоже закурил торопливо и молча протянутую кем-то папиросу. Спичку зажег прибежавший откуда-то помощник. Он выждал, пока Алексей затаился, и проговорил все разом, без запинки:

– За коровником – бывший погреб, а может, другое что... ямка такая – под яблоней – они все там шестеро... Четверо допрежь раненных и двое, что я послал...

– Ну?

– Всех. Прямым. У Грекова полголовы, у Мирошника...

«Я не пойду... Не пойду! Зачем я там нужен? Пусть будет так... без меня. Ну что я теперь им...» Но он поглядел на курсантов и понял, что должен идти туда и все видеть. Все видеть, что уже есть и что еще будет...

До часу дня, когда наступило затишье, взвод четырежды благополучно бегал в свой тыл и возвращался в окоп.

– Попьют кофе и опять начнут, – сказал помкомвзвода, глядя через поле.

Алексей промолчал.

– Я говорю, опять начнут! – повторил помощник.

– Ну и что? – отозвался Алексей, тоже глядя в невидимое селение.

– Что ж мы, так и будем мотаться туда-сюда?

– А ты думал как? И будешь! Один ты, что ли, мотаешься?

– В том-то и дело, что не один. В одиночку я согласен бегать тут хоть до победы. Лишь бы... Может, выбить его оттуда?

– Хреном ты его выбьешь? – бешено спросил Алексей. – Я, товарищ Будько, не прячу в кармане гаубичную батарею, ясно?

– У нас же бронебойно-зажигательные патроны есть, – все тем же ровным, уныло-обиженным тоном сказал Будько и губы сложил трубочкой.

– Ты что, ополченец или будущий командир? Тут же верных четыре километра!

– А пуля летит семь!

– Ну вот что. Иди на свое место. Нашелся тут маршал... Давай вон лучше окоп исправлять, ясно? И выдели мне постоянного связного. Надо ж доложить капитану о политруке... А то подкинули во второй взвод и помалкиваем. Давай быстрее!

Будько пошел по окопу, но сразу же вернулся и, не глядя на Алексея, угрюмо спросил:

– Командира второго отделения Гвозденку хотите в связные? Ему как раз каску просадило...

– Так что? – удивился Алексей.

– Ничего. Волосы на макушке начисто сбрило. Голова у него трусится...

– Он же, наверно, контужен!

– Да не-е. Это у него от переживаний. Смеется там братва над ним...

Боевое донесение капитану Рюмину Алексей составил по всем правилам, четко выписав в конце листка число, часы и минуты. Гвозденко понес его бегом, а во взвод тут же явился с большой парусиновой сумкой ротный санинструктор. Он сообщил, что в третьем, первом и втором взводах ранено восемь человек.

– А у вас богато?

– Убиты шестеро курсантов и политрук, – вызывающе сказал Алексей. – Раненых нет!

– Ага. Ну, значит, мне у вас нечего делать, – обрадовался санинструктор. – Я побегу. Сейчас, наверно, будем отправлять раненых...

Утробный гул, что временами доносился с утра еще откуда-то справа, теперь разросся по всему тылу, и его вибрирующее напряжение Алексей не только слышал, но и ощущал грудью. «Танки накапливаются. КВ, может. Этим нам достаточно будет и четырех штук. Мы бы рванули тогда вперед километров на двадцать! Мы бы „их“ пощупали!...»

Он так и подумал: «Пощупали» – и повторил это слово вслух.

6

Донесение о результатах ночной разведки капитан Рюмин отправил в штаб полка в пять часов. В нем запрашивались ближайшая задача роты, связь и подкрепление соседями.

Связной возвратился в восемь двадцать с устным распоряжением роте немедленно отступить.

Рюмин приказал курсанту описать внешность командира полка.

Курсант сказал, что он ростом с него, а по званию майор.

Рюмин видел, что связной говорит правду, – он был в штабе ополченского полка, но выполнять устный приказ неизвестного майора не мог.

С командиром первого взвода лейтенантом Ключковым Рюмин подтвердил свое донесение и запросы, и тот в восемь тридцать выехал в штаб полка на полуторке по прямой.

В восемь сорок в поле за рвом появились броневики – разведчики противника, неожиданно обстрелянные четвертым взводом, и в него отправился политрук Анисимов. Командование первым взводом Рюмин принял сам.

В десять пятнадцать начался минометный налет.

В тринадцать ноль пять Рюмин получил донесение лейтенанта Ястребова о гибели Анисимова и шести курсантов.

Лейтенант Ключков все еще не возвращался из штаба полка.

В четырнадцать тридцать минометный обстрел возобновился, но уже без прежней системы и плотности.

Ключкова не было. В тылу ревели танковые моторы.

И Рюмин понял, что рота находится в окружении. Он был человеком стремительного действия, не способным ожидать, таиться и выслеживать, оттого каждое поисковое предложение, мгновенно рождавшееся в его мозгу, казалось главным, и в результате главным представлялось все, о чем бы он теперь ни думал.

Ему понадобилось не много времени, чтобы построить свои мысли в ряд и рассчитать их по порядку номеров. На первое место встала возможная танковая атака немцев с тыла. Рюмин мысленно немедленно отбил ее. Атака повторилась, и снова он увидел раздавленные сараи и

хаты, уничтоженные танки и живых курсантов... Но он тут же спохватился и понял, что одним сердцем поражать танки курсантам будет трудно. В роте насчитывается двести двадцать винтовок. Есть свыше четырехсот противопехотных и полтораста противотанковых гранат. И есть еще бутылки с бензином, но Рюмин не считал их оружием... «Атаки с тыла мы не выдержим, – думал Рюмин. – Паника сметет взводы в кучу, а танки раздавят...»

И у него осталась одна слепая надежда на то, что атака все-таки начнется из-за рва. Это было не только надеждой – это стало почти желанием, потому что Рюмин, как и все те десятки тысяч бойцов, что однажды попадали в окружение, устранился невидимого врага в своем тылу.

День истекал. Мины изредка перелетали через окопы и грохотно садились на огородах. Ни с тыла, ни с фронта ничто не предвещало атаки. Рюмину пришла мысль, что немцы, занимавшие село впереди, находятся на временном отдыхе. Иначе зачем бы они маскировали во дворах машины? Разведчики видели там автобусы. Что это, хозчасть? Мотомехполк? Батальон? Рота? А что, если броском вперед... и разгромить и выйти к лесу, а по нему на север и... Но обязательно разгромить! Курсанты должны поверить в свою силу, прежде чем узнать об окружении! А как же раненые? Их восемь человек. И уже семеро убитых...

В семнадцать часов обстрел кончился. Рюмин послал связного в четвертый взвод с приказанием подготовить братскую могилу. Он решил с наступлением темноты двигаться по рву на север, захватив раненых, и где-нибудь по болоту или по лесу выйти к своим...

... Хату никто не тушил, и к вечеру она истлела до основания. В середине пожарища непоколебимо устремленно, как паровик, нетронутая стояла черная русская печь с высокой красной трубой, и вокруг нее бродил пацан без шапки и что-то искал в золе. «Гвозди собирает!» – с яростной болью подумал Рюмин и оглянулся назад. Курсанты шли в ногу и все смотрели на пацана, и все же Рюмин не сдержался и свирепо скомандовал:

– Тверже шаг!

Мальчишка испуганно спрятал за спину руку, попятился к печке и прижался к ней.

На кладбище скапливались вечерние тени. Четвертый взвод полукругом неподвижно стоял поодаль широкой темной ямы, а перед нею полукругом лежали семеро убитых, завернутые в плащ-палатки. Рюмин вполголоса приказал роте построиться у могилы в каре и, ни к кому не обращаясь, сказал:

– Откройте их.

Никто из курсантов не сдвинулся с места. Молча, взломав левую бровь, Рюмин осторожно повел глаза по строю, и Алексей понял, кого он ищет, и не стал ждать. Он подошел к мертвецам и, полузажмурясь, начал одной рукой развязывать концы плащ-палаток, и это же стал проделывать Рюмин, и тоже одной рукой. Они одновременно управились над шестью убитыми и разом подошли к седьмому. Это был курсант Мирошник. Он лежал лицом вниз, а в разрез шинели, между его ногами, торчмя просовывалась голая, по локоть оторванная рука. На ней светились и тикали большие кировские часы. Рюмин издал птичий писк горлом и выпрямился, враз поняв, что все, что он задумал с похоронами, – негодно для жизни, ибо, кроме отталкивающего ужаса смерти и тайного отчуждения к убитым, никто из курсантов – сам он тоже – не испытывает других чувств; у всех было пронзительное желание быстрее покончить тут, и каждый хотел сейчас же что-то делать, хотя бы просто двигаться и говорить. Тогда Рюмин и понял, что «со стороны» учиться мести невозможно. Это чувство само растет из сердца, как первая любовь у не знавших ее...

По тем же самым причинам – вблизи обращенные на него глаза живых – Рюмин не смог на кладбище сообщить роте ее истинное положение, и тогда же у него окончательно созрело и четко оформилось то подлинное, на его взгляд, боевое решение, путь к которому он искал весь день.

Уже в сумерках рота покинула кладбище и безымянную братскую могилу. У церкви Рюмин снова построил взводы в каре, и курсанты видели, что капитану очень не хватает сейчас стэка.

– Товарищи кремлевцы! Утром мною получен приказ... – Рюмин замолчал и что-то продумал, кто-то еще боролся с ним и хотел одолеть, – приказ командования уни-что-жить мотомехбатальон противника, что находится впереди нас, и выйти в район Клина на соединение с полком, которому мы приданы. Атакуем ночью. Огневой подготовки не будет. Раненых приказано оставить временно здесь. Их эвакуирует другая часть... По местам!

Курсанты заняли свои окопы. Минут десять спустя по селу метнулся горячий, с удавными перехватами щекочущий визг, и старшина сообщил вскоре взводам, что на ужин будет кулеш и бесхозная свинина.

Санинструктор нашел помещение под раненых.

– Главное, товарищ капитан, две пустые комнаты, – доложил он Рюмину. – А под ними какой-то двухэтажный подвал. БУ прямо... Только вам самим надо поговорить с хозяином.

Домик был старый, широкий, покрытый черепицей вперемежку с тесом и подсолнечными будыльями. Рюмин оглядел его издали. Ему не хотелось входить в него и видеть пустые комнаты и «БУ прямо». «Надо оставить у них не только винтовки, но и гранаты... И санинструктора». Тот стоял рядом рост в рост, и сумка съехала на живот, и верхний рожок у креста на ней оторвался, образовав букву «Т».

– Вы... москвич? – негромко спросил Рюмин.

– Не понял вас, товарищ капитан, – сказал санинструктор и поправил сумку.

– Можете готовить раненых к переводу. Я здесь договорюсь, – мягко сказал Рюмин.

На крыльце домика отрадно пахло моченым укропом. При тусклом каганце в сенях возился над кадкой маленький старик в дубленом полушубке. Рюмин встал на пороге и поздоровался. Старик пощурился на него и незаметно выпустил огурцы обратно в кадку. На вопрос Рюмина, он ли хозяин, старик сказал, что хозяин теперь всему война. «Наши раненые и санинструктор тоже должны знать это, – поспешно подумал Рюмин, – хозяин теперь всему война. Всему!» Но осматривать комнаты и БУ он не стал.

Старик ничему не противился. Он только спросил:

– А кормить раненых вы сами будете?

– Да, – сказал Рюмин. – С ними остается и наш доктор.

– А вы все... никак, уходите?

У него были белесые тихие глаза, готовые смотреть на все и всему подчиняться, и Рюмин подумал, что, может, не следует к нему определять раненых. Погасив каганец, старик проводил Рюмина с крыльца и во дворе сказал:

– А взяли они вас, сынок, как Мартына с гулянья!

Рюмин снова неуверенно подумал, что, может, не следует оставлять в этом доме раненых.

– Мы вернемся через три дня! – вдруг таинственно сказал он, вглядываясь в стариковы глаза. – И тогда заплатим вам за помощь Красной Армии. Понимаете?

7

Выступление Рюмин назначил на два часа ночи, и с какого бы направления он ни подводил роту к невидимому селению и сколько бы там ни было немцев, они все до одного обрекались на смерть, потому что предоставить им плен в этих условиях курсанты не могли. Все, что роте предстояло сделать в темноте, Рюмин не только последовательно знал, но и видел в том обостренно резком луче света, который центрировался в его уме предельным напряжением воли и рассудка. Он был уже до конца убежден, что избрал единственно правильное решение

– стремительным броском вперед. Курсанты не должны знать об окружении, потому что идти с этим назад значило просто спастись, заранее усташась. Нет.

Только вперед, на разгром спящего врага, а потом уже на выход к своим...

Но почти безотчетно Рюмин не хотел сейчас думать о грядущем дне и о своих действиях в нем. Всякий раз, когда только он мысленно встречался с рассветом, сердце просило смутное и несбыточное – дня не нужно было; вместо него могла бы сразу наступить новая ночь...

Взводы покинули окопы в урочное время и сошлись и построились в поле за рвом. Тут немного метелило и было яснее направление ветра – он дул с востока. Рюмин пошел перед строем, зачем-то высоко и вкрадчиво, как на минной полосе, поднимая ноги, и в напряженном безмолвии курсанты по-ефрейторски выкидывали перед ним винтовки с голубыми кинжальными штыками и сами почему-то дышали учащенно и шумно. Рюмин будто впервые увидел свою роту, и судьба каждого курсанта – своя тоже – вдруг предстала перед ним средоточием всего, чем может окончиться война для Родины – смертью или победой. Он вполголоса повторил боевой приказ и задачу роте, и кто-то из курсантов, забывшись, громко сказал:

– Мы им покажем, на чем свинья хвост носит!

Рота двинулась вперед, и рядом с большим, тревожным и грозным в мозгу Рюмина цепко засела ненужная, до обиды ничтожная и назойливая, как комар, мысль: «А на чем она его носит? На чем?...»

Занятое немцами село рота обошла с юга и в половине четвертого остановилась в низине, поросшей кустами краснотала. Рюмин приказал четвертому взводу выдвинуться к опушке леса в северной части села и, заняв там оборону, произвести в четыре десять пять залпов по дворах и хатам бронебойно-зажигательными патронами. Тогда остальные взводы, подтянувшись к селу с тыла, бросаются в атаку. Четвертый взвод остается на месте и в упор расстреливает отступающих к лесу голых фашистов. Рюмин так и сказал – голых, и Алексей на мгновение увидел перед собой озаренное красным огнем поле и молчаливо бегущих куда-то донага раздетых людей. Он пошел впереди взвода тем самым шагом, каким Рюмин обходил роту перед ее выступлением – как на минной полосе, и курсанты тоже пошли так, и неглубокий снег, перемешанный с землей и пыреем, буграми налипал к подошвам сапог, и приходилось отколупывать его штыками.

Лес завиделся издали – темная кромка его обрисовывалась в белесовато-мутной мгле как провал земли, и уже издали к пресному запаху снега стал примешиваться горьковато-крутой настой дубовой коры. В окостеневшем безмолвии нельзя было отделаться от щемящего чувства заброшенности. Алексей то пристально всматривался в троих разведчиков, шедших недалеко впереди с осторожной непреклонностью слепых людей, готовых каждую секунду натолкнуться на преграду, то оглядывался назад и, благодарный кому-то за то, что он не один тут, видел рассредоточенный строй курсантов, далеко выкинувших перед собой винтовки и пригнувшихся, как под напором встречной бури.

Но лес был пуст, таинствен и звучен, как старинный собор, и от его южной опушки до села оказалось не больше трехсот метров. Взвод залег плотной цепью, и сразу летуче запахло бензином – у кого-то пролилась бутылка. Алексей лежал в середине цепи, ощущая животом колкие комочки двух «лимонок» в карманах шинели. Стрелки его наручных часов, казалось, навсегда остановились на цифрах 12 и 4. Село виднелось смутно. Оно скорее угадывалось, придавленное к земле оцепенелой тишиной. Когда длинная стрелка часов сползла с единицы, Алексей воркующим тенором – волновался – сказал: «Внимание!» – и медленно стал поднимать пистолет вверх. Он до тех пор вытягивал руку, пока не заломило плечо. Указательный палец окоченел на спусковом крючке. Не доверив ему, Алексей подкрепил его средним, и контрольный выстрел сорвался ровно за минуту раньше времени...

Этот первый залп получился удивительно стройным, как падение единого тела, и сразу же в разных местах села в небо взметнулись лунно-дымные стебли ракет, и было видно, как

стремительно понеслись куда-то вбок и вкось пегие крыши построек. Остальным залпам не хватило слаженности – они хлестали село ударами как бы с продолговатым потягом, и Алексей не знал, это ли нужно капитану Рюмину.

После пятого залпа какую-то долю минуты во взводе стояла трудная тишина затаенного ожидания и все вокруг казалось угрожающе непрочным, опасным и зыбким. Курсанты начали зачем-то привставать на четвереньки, и только тогда к лесу прикатился поспешно согласный крик атакующих взводов, будто они троекратно поздоровались в селе с кем-то. Крик тут же слился с разломным треском выстрелов и взрывами гранат. При очередной вспышке серии ракет Алексей хищно окинул взглядом поляну. Она была голубой и пустынной, и он обещающим и виноватым голосом прокричал своему взводу:

– Сейчас побегут! Сейчас мы их!..

Бой в селе нарастал с каждой минутой. К размеренным выстрелам курсантских самозарядок все чаще и чаще начали примешиваться слитные трели чужих автоматов. Этот звук, рождавшийся и погасавший с какой-то подавляющей волю машинной торопливостью, был в то же время игрушечно легок и ладен. В нем не чувствовалось никакого усилия солдата. Он был как издевательская потеха над тем, кто лежит с немой винтовкой и слышит это со стороны.

Когда в северной части села гулко и звонисто заработали крупнокалиберные пулеметы и там же неожиданно бурно вспыхнуло высокое пламя пожара и завывли моторы, Алексей вскочил на ноги и воркующим тенором скомандовал атаку...

Горел сарай. Поляну заливал красный мигающий свет. Былинки бурьяна отбрасывали на снег толстые дрожащие тени, и курсанты, боясь споткнуться о них, неслись смешными прыжками, и кто-то от самого леса самозабвенно ругался неслышанно сложным матом, поминая стужу, бурю, святого апостола и селезенку. Оказывается, подбегать к невидимому врагу и молчать – невозможно, и четвертый взвод закричал, но не «ура» и не «за Сталина», а просто заорал бессловесно и жутко, как только достиг околицы села.

Взвод вонзился в село, как вилы в копну сена, и с этого момента Алексей утратил всяческую власть над курсантами. Не зная еще, что слепым ночным боем управляет инстинкт дерущихся, а не командиры, очутившись в узком дворе, заставленном двумя ревущими грузовиками, он с тем же чувством, которое владело им вчера при расстреле броневиков, выпалил по одному разу в каждый и неизвестно кому приказал истошным голосом:

– Бутылками их! Бутылками!

Тогда же он услышал рядом с собой, за кучей хвороста, испуганно-недоуменный крик:

– Отдай, проститутка! Кому говорю!!



Как в детстве камень с обрыва Устьяна лога, Алексей с силой швырнул в грузовики «лимонку» и прыгнул за кучу хвороста. Он не услышал взрыва гранаты, потому что все вокруг грохотало и обваливалось и потому что из-за хвороста к нему задом пятился кто-то из курсантов, ведя на винтовке, как на привязи, озаренного отсветом пожара немца в длинном резиновом плаще и с автоматом на шее. Клонясь вперед, тот обеими руками намертво вцепился в ствол СВТ, а штык по самую рукоятку сидел в его животе, и курсант снова испуганно прокричал: «Отдай!» – и рванул винтовку. В нелепом скачке немец упал на колени и, рывком

насаживаясь на полуобнажившийся рубиново-светящийся штык, запрокинул голову в каком-то иступленно-страстном заклятье:

– Lassen sie es doch, Herr Offizier. Um Gottes willen⁴.

Ни на каком суде, никому и никогда Алексей не посмел бы признаться в том коротком и остро-пронзительном взрыве ярости и отвращения, которые он испытал к курсанту, разгадав чем-то тайным в себе темный смысл фразы поверженного немца.

– Стреляй скорей в него! Ну?! – стонуще крикнул он, и разом с глухим захлебным выстрелом ему явственно послышался противный мягкий звук, похожий на удар палкой по влажной земле.

Горело уже в разных концах села, и было светло как днем. Одуревшие от страха немцы страшились каждого затемненного закоулка и бежали на свет пожаров, как бегают зайцы на освещенную фарами роковую для себя дорогу. Они словно никогда не знали или же напрочно забыли о неизъяснимом превосходстве своих игрушечно-великолепных автоматов над русской «новейшей» винтовкой и, судорожно прижимая их к животам, ошалело били куда попало. Эти чужие пулеметно-автоматные очереди вселенской веской силой каждый раз давили Алексея к земле, и ярой радостью – «Меня не убьют! Не убьют!» – хлестали его тело рассыпчато-колкие и гремуче-тугие взрывы курсантских «лимонок» и противотанковых гранат. Он все еще пытался командовать или хотя бы собрать вокруг себя несколько человек, но его никто не слушал: взводы перемешались, все что-то кричали, прыгали через плетни и изгороди, стреляли, падали и снова вставали. Он тоже бежал, стрелял. Падал и поднимался, и каждая секунда времени разрасталась для него в огромный период, вслед за которым вот-вот должно наступить что-то небывало страшное и таинственное, непосильное разуму человека. Он уже не кричал, а выл, и единственное, чего хотел, – это видеть капитана Рюмина, чтобы быть с ним рядом...

Ни тогда, ни позже Алексей не мог понять: почему сапог, желтый, короткий, с широким раструбом голенища, стоял? Не лежал, не просто валялся, а стоял посередине двора? Сахарно-бело и невинно-жутко из него высывалась тонкая, с округлой оконечностью кость. Он не разглядывал *это*, а лишь скользнул по сапогу краем глаз и понял все, кроме главного для него в ту минуту – почему сапог стоит?

Он побежал на улицу мимо амбара и длинного крытого грузовика, похожего на автобус. Грузовик неохотно разгорался в клубах черного грузного дыма, и оттуда, как из густых зарослей, навстречу Алексею выпрыгнул немец в расстегнутом мундире. Наклонившись к земле, он оглядывался на улицу, когда Алексей выстрелил. Немец ударился головой в живот Алексея, клекотно охнул, и его автомат застрекотал где-то у них в ногах. Алексей ощутил, как его частыми и несильными рывками потянуло книзу за полы шинели. Он приник к немцу, обхватив его руками за узкие костлявые плечи. Он знал многие приемы рукопашной борьбы, которым обучали его в училище, но ни об одном из них сейчас не вспомнил. Перехваченный руками пистолет плашмя прилегал к спине немца, и стрелять Алексей не мог – для этого нужно было разжать руки. Немец тоже не стрелял больше и не пробовал освободиться. Он как-то доверчиво сник и отяжелел и вдруг замычал и почти переломился в талии. Терпкий уксусный запах рвоты волной ударил Алексея в лицо. Догадавшись, что немец смертельно ранен им, Алексей разжал руки и отпрянул в сторону. Немец не упал, а как-то охоче рухнул бесформенной серой кучкой, упрятав под себя ноги. Пятясь от него, Алексей бессознательно откинул полу шинели, чтобы увидеть за чем-то свои ноги. Пола шинели была тяжелой и мокрой. Что-то белесовато-розовое и жидкое налипало к голенищам и носкам сапог. «Это он... облевал», – со стыдом, обидой и гадливостью подумал Алексей. Внутренности его свились в клубок и больно подкатились к горлу, и он кинулся за амбар и притулился там у плетня в узком закоулке, заваленном вязанками картофельной ботвы.

⁴ Оставьте, господин офицер. Ради бога (нем.)

Его рвало долго и мучительно. В промежутках приступов он все чаще и явственней различал голоса своих, – бой затихал. Обессиленный, смятый холодной внутренней дрожью, Алексей наконец встал и, шатаясь, пошел к убитому им немцу. «Я только посмотрю... Загляну в лицо, и все. Кто он? Какой?»

Немец лежал в прежней позе – без ног, лицом вниз. Задравшийся мундир оголял на его спине серую рубаху и темные шлейки подтяжек, высоко натянувшие штаны на плоский, худой зад. Несколько секунд Алексей изумленно смотрел только на подтяжки: они пугающе «по-живому» прилегли к спине мертвеца. Издали, перегнувшись, Алексей стволом пистолета осторожно прикрыл их подолом мундира и пьяной рысцой побежал со двора. По улице, в свете пожаров, четверо курсантов бегом гнали куда-то пятерых пленных, и те бежали, старательно и послушно, тесной кучей, а курсанты каким-то лихо-стремительным подхватом держали перед собой немецкие автоматы, и кто-то один выкрикивал командно и не в шутку:

– Айн-цвай! Айн-цвай!

Алексей пропустил пленных, пытаясь заглянуть в лицо каждому, и, пристроясь к курсантам, спросил на бегу у того, что отсчитывал шаг:

– Куда вы их?

– В распоряжение лейтенанта Гуляева, товарищ лейтенант! – строго ответил курсант и властно повысил голос: – Айн-цвай! Айн-цвай!

Невольно ладя шаг под эту команду, Алексей побежал сзади курсантов, то и дело поворачивая голову влево и вправо – у плетней и заборов лежали знакомые серые бугорки. Курсанты повернули пленных в широкий, огороженный железной решеткой сад. Там у ворот стояла на попа длинная узкая бочка в подтеках мазута, и над ней ревел и бился плотный столб красно-черного огня и дыма. Несколько курсантов и Гуляев держались в сторонке, направив в бочку немецкие автоматы, и у Гуляева на левом боку ярко блестела лакированная кобура парабеллума.

– Ну, Лешк! – закричал Гуляев, увидев Алексея. – В пух разнесли! Понимаешь? Вдрызг! Видал?!

Он не мог говорить, упоенный буйной радостью первой победы, и, вскинув автомат, выпустил в небо длинную очередь. И тут же он взглянул на пленных, но искоса, скользко, и совсем другим голосом – невнятно, сквозь сжатые зубы – сказал окружавшим его курсантам:

– Туда!

Пленных окружили и повели в глубину сада, а Гуляев с прежним счастьем сказал Алексею:

– В пух, понимаешь? Расположились тут, сволочи, как дома. В одних кальсонах спят. Видал? Вконец охамели...

Ожидаясь вглядываясь в сад, суетясь и пряча от Гуляева полу своей шинели, Алексей спросил, где капитан.

– В том конце, возле школы, – сказал Гуляев. – Там сейчас мины и разное барахло взорвут. В твоём взводе большие потери? У меня всего лишь пятеро...

Алексей не ответил и побежал из сада, и все время в его мозгу звонисто отсчитывалось «айн-цвай, айн-цвай», и он выбрасывал и ставил ноги под эту команду. Он испытал внезапную, горячую и торопливую радость, когда увидел Рюмина.

... Рота вступила в «свой» лес только в седьмом часу, и к тем пятнадцати, которых несли на плащ-палатках, сразу же прибавилось еще двое раненых, – спасаясь, несколько немцев проникли сюда. Чужим приемом – рукоятки в животы – курсанты подняли в лесу разноцветную пулевую пургу. Тут уже били ради любопытства и озорства, подчиняясь чувству восхищенного удивления и негодования – «как из мешка!». Плотность огня трофейных автоматов и в самом деле была поразительной: они, как пилой, срезали молодые деревья, и на то, чтобы расчистить себе путь, курсантам понадобилось не много времени. Как только утихла стрельба, раненые

один за другим снова начали стонать и просить пить, и с какой-то своевольной властью курсанты приказывали им потерпеть.

– Ну чего развели нуду? К утру доставим в госпиталь, а через неделю будете с орденами и кубиками!

– Это точно! Там их не меньше батальона сыграло...

– Одних автобусов штук сорок было!..

– Да шесть броневиков...

Рота двигалась медленно. Потери немцев росли по мере отдаления курсантов от села, и каждый знал, что он умалил там и к чему прибавил. Это нужно было не им, здоровым и живым, а семнадцати раненым и тем еще одиннадцати, что навсегда остались в горящем селе, кому уже никогда не придется носить ни кубарей на петлицах, ни орденов на груди...

8

Лес выпуклым полукругом обрывался в поле. Северо-западным краем оно уходило в возвышенность, а восточным – сползало в низину, и там стояло несколько хат, а за ними тянулась какая-то рыжая приземистая поросль. Дальше ничего не виделось, потому что день застрял на полурассвете – узенький, серый и плоский: небо начиналось прямо над верхушками деревьев. Рота присела на опушке, и Рюмин заколдованно стал смотреть на хаты и на то, что было позади них, – туда предстояло идти, а раненые все время просили воды; и трое из них умерли перед утром, но их несли, потому что Рюмин не останавливался.

Все эти пять или шесть километров, что отделяли роту от места ночного боя, она прошла по восточной опушке леса, и в темноте он казался нескончаемым, широким и неизведанным, как тайга. Он словно по заказу все время заворачивал к северо-востоку, и мысленно Рюмин не раз уже переходил в нем с курсантами ту незримую и таинственную линию, за которой сразу же исчезало представление об окружении и где лишь только тогда изумительно дерзкой победой кремлевцев заканчивался прошлый ночной бой. Но к этому рубежу окончательной победы роту могла привести только ночь, а не этот стыдливый изменник курсантам, плюгавый недоносек неба – день! О, если б мог Рюмин загнать его в черные ворота ночи!! Загнать его туда на целые сутки, ненужного сейчас русским людям, запоздалого пособника битых в темноте!..

Рюмин повел роту в глубину леса – чуть-чуть назад и больше на запад, и лес уже не был прежним: он мог быть значительно гуще, запущенней, а в нем то и дело попадались давно и аккуратно сложенные кучки валежника, давно и чисто прибранные полянки и просеки. Он был избит глубокими скотными тропинками и стежками, припорошенными снегом, и на их обочинах в кустах орешника пугано тетенькали синицы. Западная опушка показалась еще издали. Лес кончался тут густым мелким осинником. За ним полого поднималось наизволок серое поле, сливавшееся с серым небом...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.